

МЕЛЬЕ



Б. Порин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Annotation

Книга посвящена Жану Мелье (1664–1729) — французскому философу-материалисту, атеисту, утопическому коммунисту. Философские взгляды Мелье оказали большое воздействие на формирование мировоззрения французских материалистов 18 в.

<http://fb2.traumlibrary.net>

- Борис Федорович Поршнев
 - Мелье
 - Глава 1. Неприкаянный Прометей
 - Глава 2. Дыхание народа
 - Глава 3. Неприметная жизнь
 - Глава 4. Великая смерть
 - Глава 5. Святые и либертины
 - Глава 6. Против имущих
 - Глава 7. Против деспотов
 - Глава 8. Против богов
 - Глава 9. Биография Мелье начинается
 - Глава 10. Огонь
 - Библиография
- notes
 - 1
 - 2
 - 3

Борис Федорович Поршнев
Мелье

Глава 1. Неприкаянный Прометей

В век Просвещения и Великой революции XVIII века во Франции не было образованного человека, который не знал бы о Жане Мелье.

На трибуну Конвента поднялся Анахарсис Клоотс. Он был с левыми якобинцами. Он требовал «отмены всех религий», полной дехристианизации Франции. В тот день, 27 брюмера второго года Республики, жгучий пламень его красноречия испепелял весь легион священников Франции, которые отреклись от сана и церкви лишь внешне, затаив в душе свою упрямую старую веру. Оратор отличал их от других, пусть меньшинства, поднявшихся против бога и религии убежденно и деятельно. Велики были заслуги перед человечеством тех, кто поступил так. «Вот почему я требую воздвигнуть в храме Разума статую первому из священников, отрекшемуся от веры», — громыхал в стенах Конвента голос Анахарсиса Клоотса. Форум якобинцев слушал его.

Революция еще не обращалась к монументальной пропаганде — ни разу еще не выносила решения о воздвижении кому-либо памятника. Кто же этот популярный герой, достойный получить первым бессмертие из ее рук, ее вотумом? «Достаточно назвать его имя, — гремел голос Анахарсиса Клоотса, — чтобы предлагаемый декрет был принят Конвентом».

Заметим эти слова: достаточно назвать его имя. Они дальше помогут нам продираться сквозь тьму и слепоту легенды. Они сказаны без какой-либо особой цели, оратору и в самом деле было очевидно, что в зале не может оказаться человека, который не знал бы, кто такой Жан Мелье.

Он и не стал в дальнейшей речи объяснять этого. Довольно было силы революционного контраста: теперь, при восстановленном режиме природы, должна быть реабилитирована и память об этом благородном, бесстрашном, беспримерном Жане Мелье, подвергавшаяся при старом, ложном режиме хуле и бесчестию. Заметим снова, что оратор говорит не о забвении или неведении о Жане Мелье, а о хуле и поношении. И он в самом деле напомнил, что «Завещание» этого философа (историки позже стали называть «просветителями» тех, кого в XVIII веке именовали «философами») из деревни Этрепиньи в Шампани внесло смятение в штаб богословия — Сорбонну «и в среду всех хриstopоклоннических толков».

Действительно, прений не понадобилось. Декрет Конвента, подписанный председателем Лалуа, пятью секретарями и

двенадцатью членами Комитета декретов и протоколов, был передан для исполнения комитету Конвента, ведавшему делами общественного просвещения.

Да, ни семистам членам Конвента, ни теснившейся на галереях публике не требовалось объяснять, кто такой кюре Мелье, что такое его «Завещание». Это знал каждый, в самом деле каждый человек, приобщившийся к «просветительству» до революции или просвещенный революцией. И уж, конечно, во всех революционных секциях, народных обществах и клубах Парижа, даже и среди необразованных людей, в ближайшие дни не могли не говорить об очередном прочитанном ими протоколе Конвента — о первой предложенной статуе для храма Разума.

Имя, слава, дух Жана Мелье победно прошли через шесть десятилетий, через все это историческое чистилище, от его смерти в 1729 году, в глухую пору старого порядка, до трубного гласа торжествующей якобинской революции.

Но упрямая вымышленная легенда настаивает на другом: Жана Мелье забыли. Нет, его даже не забыли. Его не знали ни в век Просвещения, ни в годы революции, ни позже. Редкие упоминания его имени там и сям во французских текстах XVIII века при чопорном филологическом подходе к делу оказываются скорее свидетельством забвения, чем полновесного знания. Неудачливый, почти вовсе забытый почти вовсе неведомый мыслитель. Лишь (по простому совпадению) к 200-летию со дня его рождения, в 1864 году, голландец Рудольф Шарль опубликовал в Амстердаме случайно найденный у букиниста текст «Завещания» Жана Мелье. А до того он был забыт, забыт, забыт. Так хочет легенда.

Тем хуже для этой ученой нелепости, для этой нелепой учености. В течение всего XVIII века, начиная с тридцатых годов, каждый, кто приобщался к кругу чтения «философов», кто входил в их собственный круг, хотя бы как неофит, читал Мелье и слышал о нем в салонах и кафе, где оттачивались все умы века. Что уж говорить о главных магах этой секты служителей разума. В чернильнице каждого из них, в сокровищнице прочитанной потаенной литературы, в интеллектуальной реторте подлинного Просвещения необходимо присутствовало «Завещание» этого богомерзкого кюре из Шампани. Что в том, если оно никогда не было напечатано. В то время даже и напечатанные, но запретные книги усердно переписывались от руки во множестве экземпляров адептами просветительства. Переписывание книг грамотными людьми было как бы формой живого служения движению умов, делу философов. Были и целые коммерческие предприятия, занимавшиеся этим делом. Они обеспечивали запретной

литературой каждого, кто приезжал в Париж с намерением погрузиться в мир современных идей, каждого участника передовой культурной жизни столицы, да, впрочем, и не только столицы, а и провинции.

Мы никогда не узнаем, во скольких экземплярах в течение XVIII века была от руки размножена тяжелая, громоздкая, но такая притягательная, как запретное яблоко познания добра и зла, как самое дерзновенное святотатство, рукопись Мелье. Уже через шесть лет после смерти безвестного деревенского кюре его великий трактат распространился в достаточном числе экземпляров, чтобы стать предметом внимания и темой переписки верхушки мыслящей интеллигенции Франции. Об этом говорит, например, ответ едва лишь восходившего тогда Вольтера на полученное из Парижа письмо одного из деятелей просветительского движения Тирио: «Я рад, что вы вот уже шесть месяцев наслаждаетесь книгой Локка. Я в восторге, что вы читаете этого великого человека, который в метафизике является тем же, что Ньютон в познании природы. А что это за деревенский священник, о котором вы мне пишете? Надо сделать его епископом в епархии Святой Истины. Как! Священник, француз — и такой же философ, как Локк? Не можете ли вы прислать мне рукопись? Вы могли бы послать ее по адресу Демулена в пакете вместе с письмами Попа, я верну ее в полной сохранности».

Уже в 1735 году имя Мелье ставится рядом с именами Локка и Ньютона! И это не парадокс вольтеровского ума в провинциальном уединении, а информация, присланная ему завсегдатаем парижских салонов, обладавшим и связями и деловым нюхом.

В следующем, 1736 году Вольтер и его аристократическая приятельница маркиза Шатлэ, как и стекавшиеся к ним в Сирэ философы, писатели, ученые, уже обладали рукописью «Завещания» и могли над ней работать. Впрочем, «Извлечение...» было закончено лишь в 1742 году.

Спустя много времени, в начале 60-х годов, в письмах к своему другу Дамилавиллю Вольтер вспоминал (может быть, по рассказам Тирио) о бурном распространении сенсационного нелегального произведения Жана Мелье в образованных кругах Парижа: «Пятнадцать-двадцать лет назад это произведение продавали в рукописи по восемь луидоров. Это был большой том ин-кварто; в Париже имелось более ста экземпляров его. Брат Тирио хорошо осведомлен об этом». «Вспоминается мне горбун, который когда-то продавал из-под полы Мелье. Он знал свою публику и продавал только любителям».

Навряд ли кто-либо мог действительно пересчитать все обращающиеся экземпляры. Их, очевидно, уже тогда было больше, чем мог знать Тирио, а до 60-70-х годов XVIII века число их все умножалось. Конечно, хотя бы некоторые экземпляры были прочитаны не одной, а многими парами глаз, ходили из рук в руки. Иные, разумеется, из осторожности уничтожались, поистине требовались и храбрость и благоговение перед разумом, чтобы хранить у себя такой веский повод для привлечения к судебной ответственности. Вот почему, кстати, так много говорит нам факт, что ныне в разнообразных архивах Франции, в том числе провинциальных, найден добрый десяток списков «Завещания» Мелье, случайно оставшихся, как опавшие листья от кружившегося когда-то в воздухе множества. Ветер европейского Просвещения занес экземпляры даже во дворцы или ученые кабинеты Голландии, Пруссии...

А несуразная легенда твердит свое.

Ну что же, вот еще несколько ударов по ней хлыстом фактов.

Великий материалист и атеист Ламеттри, на два десятилетия опередивший Гельвеция, Гольбаха и Дидро, вспыхнувший как яркая ранняя звезда на еще полутемном небосклоне первой половины XVIII века, был истинным учеником Мелье. Многое он перенял и пересказал из «Завещания». Но пока нам важно одно: если в 1747 году в своей бессмертной книге «Человек-машина» Ламеттри ограничился лишь прозрачным намеком на личность своего главного учителя в философии, некоего француза-атеиста, то в памфлете, изданном в 1748 году, намек превращается в почти открытое указание: ни Спиноза не высказал своих взглядов при жизни, «ни тот священник из Шампани, у которого нашли три копии его атеизма». Как бы извиняя свою краткость и сдержанность, Ламеттри добавляет в скобках: «премного людей знают его историю». Тысячи читателей Ламеттри были бы озадачены его намеками, если бы в самом деле не были достаточно осведомлены о Жане Мелье. Ламеттри, как видим, нимало не сомневался в этом. Не сомневался, что поймут, почему приходится прибегать к околичностям и избегать имени собственного — за это имя уже тогда сажали в тюрьму.

Вот для иллюстрации пожелтевший листок из архива Бастилии, центральной королевской тюрьмы, полицейского бастиона столицы. В 1741 году полиция ведет следствие о книготорговце Лабарьере, обвиняемом в нелегальном распространении запрещенных произведений. Скупые строки обвинения: «...постоянно имел дела с авторами сочинений такого рода, а прежде продавал произведение кюре из Этрепиньи...» Да, Тирио был явно прав. При этом полиция к 1741 году знала

положение дел с Мелье не хуже, чем он. Но и Ламеттри был прав, что множество его читателей, несмотря ни на что, знали Жана Мелье.

Салон барона Поля-Анри Гольбаха был подлинным центральным клубом «философов» Парижа, их умственной лабораторией, целой мануфактурой идей. Среди других философских очагов Парижа это был самый водоворот. Зимой на улице Сен-Рош в Париже, а летом и до поздней осени в парижском пригороде Гранвилле в богатом открытом доме Гольбаха часто встречались главные лица просветительской плеяды. Тут много, жарко и откровенно спорили, выковыывая общее и каждый свое мировоззрение. Завсегдатаями были Дидро, Гельвеций, Даламбер, Кондильяк, Гримм, Рейналь, Бюффон, Мармонтель, Нежон, одно время и державшийся обособленно Руссо; приезжали сюда и английские философы и экономисты — Адам Смит, Бенжамен Франклин, Давид Юм. После того как в 1759 году умер энциклопедист Буланже, дом которого, каламбуря, называли «булочной» опасных идей и сочинений, новой «пекарней» служил дом Гольбаха. Здесь находилась его открытая для друзей обширная библиотека. Здесь он сам со своими литературными помощниками Нежоном, Лагранжем и другими не покладая рук готовили к печати разнообразные книги, оставившие глубокие следы в летописи французского просветительства, без усталости переводили, редактировали, писали. Иные деятели Просвещения и творцы Энциклопедии, в том числе Дидро, тут и жили подолгу, тут и писали.

За столом, во время прогулок по парку не боялись цензуры, не боялись друг друга, шевелили все до дна.

Так вот, шеф этой дьявольской кухни, глава дома и кружка философской верхушки, был пылким и верным апостолом Жана Мелье. Анализ его книг, не одной, а нескольких, притом важнейших, показывает, что он снова и снова жадно прикинул к «Завещанию» и пригоршнями черпал из него. Как усомниться в том, что экземпляр этой рукописи всегда находился в библиотеке Гольбаха?

Из всех «потаенных учителей», какие, по выражению историка Морне, были у просветителей, Жан Мелье был самым бесценным, самым жгучим источником вдохновения единомышленников и друзей Гольбаха.

В 1772 году Гольбах опубликовал книгу «Здравый смысл кюре Мелье».

Невероятнейшим на первый взгляд образом в этом великолепном антирелигиозном материалистическом произведении нет ни одной цитаты из Мелье, ни одной ссылки на

него, ни даже упоминания его имени. Это имя совсем одиноко и совсем странно стоит лишь на обложке.

Странно для историков и для философов, но не для современников и сподвижников. Конечно, если предполагать, что на покупателей книги, изданной Гольбахом анонимно, имя кюре Мелье не действовало как электрический разряд, было бы бессмысленно анонсировать, что она несет мысли в его духе, передает его философию — философию простого здравого смысла. Объяснить появление такого заглавия у книги Гольбаха можно только тем, что имя кюре Мелье стало уже вполне именем нарицательным. Оно известно всем образованным, оно означает в их сознании определенный метод и стиль атаки на религию и власть. Гольбах как бы объявляет публике, что он приверженец этого способа критики и мысли, и передает самую суть, не берясь за пересказ.

Действительно, во многом ему это удалось прекрасно. Перлы Мелье один за другим трепещут в ладонях Гольбаха, но в другой оправе, в другом порядке, далеко не в том полном наборе. «Здравый смысл кюре Мелье» имел наибольший успех из всех блистательных творений Гольбаха. Но пока речь не об этом: само существование этой книги, как молот, бьет неправду. Сколько же знал о кюре Мелье каждый посетитель салона Гольбаха! Как ясно было для каждого из них, в чем

суть дела, если — не без разговоров, конечно, — посчитали, что кстати дать это откровенное, дерзкое, дразнящее название свежей книге, вынесенной на публику из «пекарни».

Остается добавить, что наследие Жана Мелье проникло в мышление просветителей и их обширную аудиторию никак не посредством краткого «извлечения», которое Вольтер опубликовал за десять лет до этого. Пусть Вольтер и видел в нем потрясение основ. На деле эта тоненькая брошюрка не могла принести имени Мелье того обобщенного значения и той признанной известности, которые звучат в вызывающем заголовке книги Гольбаха.

Как звучало имя Мелье, видно и из другого. В том же 1772 году Гольбаху пришлось выпустить новое издание своей книги, но уже без имени кюре Мелье на обложке. Оно проскочило в первом, напечатанном в Амстердаме издании, но, очевидно, делало слишком уж опасной всякую торговлю этим товаром. Поспешное второе издание вышло под безликим заголовком «Здравый смысл, или Естественные идеи, противопоставленные идеям противоестественным». Под этим названием, с прибавлением еще слов, что она написана автором «Системы природы», книжка триумфально переиздавалась в 1773, 1774, 1782, 1784, 1786

годах. Ее лишь украшало то, что она была приговорена парижским парламентом к сожжению.

Гольбах не дожил нескольких месяцев до революции. Его ближайший друг и душеприказчик Нежон выпустил эту книгу в 1791 и 1792 годах под восстановленным истинным ее названием: «Здравый смысл юре Мелье». С каким громким победным звоном пали оковы с запретного имени Мелье!

Нежон не только раскрыл истинный замысел Гольбаха и расшифровал всему читательскому миру усеченное выражение «Здравый смысл...». Он издал также в первые годы революции все то из порохового погреба ветеранов Просвещения, что наиболее похоже следовало духу Мелье, вроде, например, сочинения «Солдат безбожник». Можно со всей уверенностью думать, что он готовил к печати также подлинный полный текст «Завещания», но не успел. В третьем томе своей выпущенной в 1790 году «Методической энциклопедии» он напечатал обширную и восторженную статью «Жан Мелье», рассказывавшую и о тех сторонах творения Мелье, которые когда-то Вольтер попытался предать вечному забвению. Нежон, бывший прежде чуть ли не самым доверенным лицом Гольбаха и Дидро, едва лишь началась революция, видел одну из главных своих задач в — ставшей, наконец, возможной — пропаганде Мелье и его наследия.

То же делал Сильвен Марешаль, будущий участник «заговора равных» под руководством Бабефа: в 1790 году он издал книгу «Катехизис юре Мелье», яркое атеистическое произведение, где имя Мелье фигурирует в заголовке совершенно в том же смысле, как и в книге Гольбаха: там нет извлечений и цитат из Мелье, — набатные слова «Катехизис юре Мелье» звучали как «Катехизис атеиста» или, если угодно, как «Основы учения мельеистов». В 1789, 1791, 1792 годах и позже Сильвен Марешаль славил освобожденное имя Мелье и вынесенное из подполья его творение в своих «Словаре честных людей», «Альманахе республиканцев», «Словаре атеистов».

Анахарсис Клоутс, среди других, высоко взметнул славу Мелье в 1793 году, в справедливые, рвавшие все цепи дни революции.

Вот в наших руках и другая половина истины. Мелье в XVIII веке был не только знаменит, но и запрещен. Это было опальное, непростительное, изгнанное имя. Его читали все «философы» и все допускаемые к ним за кулисы. Но его продавали лишь из-под полы, его называли лишь шепотом.

Изданный в 1757 году правительственный декрет под угрозой смертной казни запрещал «сочинять, печатать и распространять в публике сочинения, направленные против религии, королевской

власти и общественного спокойствия». Не подействовало! Десять лет спустя, в 1767 году, королевская декларация вновь предписывала «полное молчание касательно всего, что относится к религии». Если это затрагивало многих, то Жан Мелье был словно олицетворением и воплощением всех зол, против которых поднят правительственный молот. Удары обрушивались на всякого, кто прибегал к его имени в своих изданиях. Один из самых дерзких и вольнодумных писателей середины XVIII века, атаковавший и иезуитов, и законы, и суд, Дюлоран, был привлечен к следствию священной инквизицией, между прочим, в связи с тем, что его заподозрили в авторстве анонимной книжечки «Избранные мнения Жана Мелье», что служило важным отягчающим обстоятельством. Книги, содержавшие в заглавии или в тексте имя Мелье, были неоднократно осуждены. Те, кто хранили и тайно распространяли их, а тем более списки самого «Завещания», рисковали попасть в руки полиции.

Нет, это не был «забытый, одинокий мыслитель». Это был живой враг, с которым сражались и который сражался.

В качестве прибежища легенда готова принять версию, что живым врагом был не Мелье, а Вольтер: он извлек Мелье из небытия и дал ему второе рождение. Это хоть куда ни шло, великому Вольтеру, другу королей, дозволительно и поделиться своей славой с безвестным кюре и отвлечь на него часть своих преследователей. Не так давно легенда устами немецких профессоров твердила даже, что кюре Мелье вообще изобретен Вольтером, что это одна из многочисленных мистификаций Вольтера, на деле же ни этот кюре, ни его «Завещание» никогда не существовали. Это выглядело расчудесно. Но оказалось глупо. Однако разве много умнее допустить, что пока Вольтер не напечатал в 1762 году своего тоненького извлечения из Мелье, этот мыслитель не мог ни оказывать влияния, ни вызывать ненависти и запрета?

В действительности Вольтер вел очень непростую игру с творением и именем Мелье. Сначала он распространял в форме рукописных копий краткое «Извлечение», датированное 15 марта 1742 года. Скорее это было попыткой заменить на подпольном рынке дорого стоившего полного Мелье гомеопатической дозой этого сильного яда. Попытка навряд ли особенно удалась. Потом наступили годы, когда Вольтер побаивался обжечь себе пальцы. В 1761 году он вернулся к своей затее. Он действовал из неприступного убежища — из своего богатого имения Фернэ у самой границы Франции, в Швейцарии. На этот раз брошюра была отпечатана в женевской типографии изрядным тиражом, причем за один год двумя изданиями, и Вольтер не пожалел

средств, чтобы рассылать ее бесплатно по множеству адресов. Она называлась «Избранные мнения Жана Мелье, адресованные его прихожанам, по поводу некоторых из злоупотреблений и заблуждений и вообще и в частности». Имя составителя, конечно, не указано. Заголовок звучит с оттенком вольтеровской шутливости. Шестьдесят три страницы брошюры представляют собой фрагменты текста Мелье, касающиеся критики источников и догматов христианской религии. Все остальные стороны единого мировоззрения Мелье отброшены. Вольтер не только отбросил многое, но и добавил немного: он вписал строки, в которых Мелье предстает не атеистом, а верующим, и только просит перед смертью у бога прощения за то, что проповедовал людям фальшивую веру. Мало того, именно это место Вольтер затем цитировал в своих многочисленных письмах как якобы самое замечательное, что характеризует Мелье.

В 1762–1764 годах переписка Вольтера по поводу Мелье огромна. Из переписки его с Гельвецием, Даламбером, Мармонтелем можно косвенно заключить, что эти корреспонденты до того знали полное «Завещание». Но Вольтер с огромным напором внушает им, как и ряду других лиц, что его выборка неизмеримо лучше огромного неудобочитаемого подлинника, и те на наших глазах поддаются его авторитету и натиску, пишут льстивые комплименты, даже верят — или любезно делают вид, что верят, — будто Мелье действительно перед смертью просил у бога прощения.

Вольтер был, видимо, искренне убежден, что он во много раз усовершенствовал Мелье. Тот прежний текст был «слишком бунтовщический». Теперь же это направлено только против «гадины» — католической церкви. Этот обломок Мелье в глазах Вольтера застилает все небо.

Не станем, конечно, преувеличивать силу удара. Придавать ему слишком большое значение — это равноценно прикрытой помощи легенде. Вольтеровская публикация не была ни первой славой, ни переворотом в посмертной жизни Мелье. У Мелье была и своим чередом развивалась собственная, особая, трудная судьба. Между упомянутым возникновением его тени, полной жизненных сил, у Ламеттри в 1747–1748 годах и у Гольбаха в 1772 году нет антракта, который мы должны были бы связать с вторжением Вольтера в 1762 году. И все-таки кавалерийский рейд Вольтера из фернейского далека по парижским тылам произвел действие на часть современников, сбил их, а еще больше воздействовал на буржуазных историков. Именно историки особенно постарались использовать казус Вольтера для утверждений, что если уж Вольтер и не выдумал этого во всех

отношениях неудобного юре из Этрепины, по крайней мере Вольтер первым его открыл, и XVIII век, век Просвещения, так, в сущности, почти и не испытал прикосновения того грубого, революционного, коммунистического, слишком попросту материалистического, слишком простонародного, слишком рвущего все каноны произведения Жана Мелье, которое было случайно открыто в XIX веке в букинистической лавке и ныне привлекает интерес любителей бесполезных древностей. Мировоззрение энциклопедистов, рационалистов, философов, ставших патриархами Просвещения, якобы сложилось до эксцентрической выходки великолепного Вольтера в 1762 году с этой публикацией дерзких антирелигиозных страничек из «Завещания» Мелье, поэтому доказано, что и они не произвели ощутимого влияния на величавый ход общественно-философской мысли.

Приведенные факты уже с избытком засвидетельствовали, что все это было не так. «Завещание» присутствовало и на столах множества читателей и, что еще важнее, в мыслях и трудах великих продолжателей. Они возвращались к нему как к неиссякающему ключу. Это была сокровенная тайна просветители, их подземное золото.

Лишь Великая революция смогла вынести его на поверхность. Не надолго. С Термидором все пошло вспять. Гракх Бабеф был не только учеником учеников Мелье, наследником его наследников. Он первым заново соединил вместе те три стороны, которые были едины в учении Мелье и разъяты порознь разными просветителями: идею коммунизма установления справедливого и разумного строя, основанного на отмене частной и установлении общей, общественной собственности; идею народной революции, сметающей всех угнетателей и тиранов и добывающей руками трудящихся истинное и полное равенство; идею, разоблачения и опровержения христианства, как и всякой религии, и замены его научной философией материализма. В годы революции, термидорианской реакции и Директории Гракх Бабеф должен был тысячи раз слышать имя Жана Мелье от любого из левых революционных якобинцев, от Анахарсиса Клоотса и Анаксагора Шометта, от бывшего члена «социального кружка» Никола Бонвилля и от своего близкого сподвижника по «Заговору равных» Сильвена Марешаля. Что в том, если бури и тюрьмы не позволили ему самому разыскать и прочесть список «Завещания»? Что в том, если революция не успела опубликовать «Завещания»!

Совершенно ясная логика привела к тому, и иначе не могло быть, что когда во Франции 30-40-х годов XIX века возродился

бабувизм, имя Жана Мелье было уже неразрывно сращено с именами Бабефа, Буонарроти и других отцов этого движения. Члены «Общества прав человека» называли свои семь секций этими священными для них именами. Секция Клиши (Клиши ла Гаренн) называлась: Секция имени кюре Мелье.

И тогда на память Мелье был обрушен еще один удар — подлый и жестокий. Некая черносотенная шайка, беснующаяся, католическая, «Общество святого Виктора», выпустила в 1847 году книжку «Подлинный здравый смысл кюре Мелье, сопровождаемый его Завещанием». Книжка, написанная ренегатом утопического социализма Колленом де Планси, состоит, во-первых, из псевдобιοграфии Мелье, где он представлен хорошим, богобоязненным кюре на протяжении всей своей жизни, лишь помутившимся умом на два года после того, как достиг шестидесяти двух лет, когда он вдруг вообразил, будто его ждет кресло академика, и наговорил богохульств; однако он успел раскаяться, отречься от своих безумств и испросить у бога прощения (отзвук вымысла Вольтера!). Во-вторых, следует фальшивый, приписываемый ему текст: «Завещание Жана Мелье, или Мнения кюре из Этрепиньи, обращенные к его прихожанам». Это популярная пропаганда ортодоксального католицизма. Среди тридцати трех глав тут главы и «о боге», и «о бессмертии души», и «о грехопадении человека», и «о тайне святой троицы», и «о тайне воплощения Христа», и «о тайне искупления». Словом, Мелье оставил в качестве своего завещания прихожанам полное и богобоязненное изложение истинной христовой веры. Но что придало силы этой гнусной книжонке, так это соучастие в преступлении такой высокой церковной особы, как епископ Труа — древней столицы Шампани. Вот что надписал этот большой негодяй, прикрывший мелких негодяев: «Апробация: Общество святого Виктора представило на наше одобрение книгу, озаглавленную „Подлинный здравый смысл кюре Мелье, сопровождаемый его Завещанием“, мы поручили рассмотреть это сочинение, и, в соответствии с представленным нам заключением, мы полагаем, что она успешно сможет реабилитировать то имя, которым недостойно злоупотребили барон Гольбах, Вольтер и другие философы. Дано в Труа 30 июля 1847 года. Епископ труасский».

Взгляните еще раз на год, когда опубликована эта фальшивка. 1847. Это тот год, когда Маркс и Энгельс написали «Коммунистический манифест». Мракобесы не только вычеркнули имя Жана Мелье — из пантеона предтеч французских донаучных тайных коммунистических обществ и сект. Они отняли у него его место в истории развития социализма. Основоположники

научного коммунизма Маркс и Энгельс никогда, ни разу, нигде не назвали имени Жана Мелье. Вышедший в 1864 году в Амстердаме подлинный текст «Завещания» уже остался им неизвестен.

Иной вопрос, что проделали специалисты в связи с этой публикацией за истекшие сто лет. Пришел ученый XX век. Все, что было явным вымыслом о Мелье, отброшено. Помогло, между прочим, то, что голландец Рудольф Шарль (действительное имя: Д'Альбен Гиссенбург), отчаянный антиклерикал и рационалист-вольтерьянец, приложил к своей публикации выдержки из писем Вольтера, касающиеся Мелье. Это подстегнуло ученые штудии вольтероведов, которые ведь не оставляют, чего бы им это ни стоило, без самого досконального изучения (вроде как и пушкинисты) ни одно словечко, относящееся к их герою. На тему «Вольтер и Мелье», отсюда — и отдельно о Жане Мелье написаны диссертации, книги, статьи — впрочем, во Франции не очень-то многим больше, чем в Германии, Англии, Америке.

В нашей стране Жаном Мелье занимались больше, чем где-либо в мире. Интерес к нему перекинулся в Россию очень рано: если первым опубликованное в 1864 году «Завещание» использовал в своей книжке о Вольтере (1868) Давид Штраус, современник Маркса, то оттуда эстафету перенял русский профессор А.А.Шахов. Он поспешно выписал амстердамскую публикацию (Шарля) и в своих лекциях о Вольтере и его времени, читанных в Московском университете в начале 70-х годов XIX века, щедро и со сдерживаемым волнением рассказывал о «Завещании», о кюре Жане Мелье.

Тему о Жане Мелье профессор А.А.Шахов завещал своему ученику, будущему академику Р.Ю.Випперу, а тот своему ученику, будущему академику В.П.Волгину, первая же работа которого была именно о Мелье. Дальше эту тему унаследовал от своего учителя автор этих строк и, в свою очередь, пленил ею молодых ученых А.В.Адо и Г.С.Кучеренко. Так что написанное в этой книжке добыто в известной мере нашими общими трудами. И советские философы, начиная с академика А.М.Деборина, со своей стороны, с увлечением углубились в анализ духовного наследства еще недавно остававшегося в неведении мыслителя. В русском переводе «Завещание» Жана Мелье опубликовано уже три раза.

Что же, конец классической драмы?

Нет, нет, все еще завязка, все еще если не первый, то второй акт, но никак не пятый.

Заглянем в иностранные учебники, в книги, в статьи об эпохе Просвещения. Где тут стоять Мелье, с кем рядом, «на какую букву»? То заслоняют его патриархи Просвещения, то он их чем-

то грозит затмить. Не находится ему места. Да и принадлежит ли он вообще-то веку Просвещения или чем-то противоположен ему? Академик А.М.Деборин с наивностью андерсеновского мальчишки из сказки о голом короле выпалил: «Жан Мелье — отец французского материализма». Вот те на, отец! Сотворил он свой материализм действительно намного раньше других, да и смелее, но писать-то о нем положено после других, в конце. Не положено ему место в начале, в отцах. И вот снова слышатся спасительные вздохи о проклятой неизвестности: жил-то он раньше, да доказано ли, что они его знали?

Как хочется верить, что не доказано, что не знали! Что он был «открыт», ну, не раньше, чем Вольтером в 1762 году, а правильное сказать, Рудольфом Шарлем в 1864 году.

Абсолютно ясно, что Вольтер пытался не «открыть», а «полуприкрыть» Мелье. И другие делали те же усилия, большие усилия. Тщетные, потому что шампанский кюре снова и снова выпрямлялся как ванька-встанька, выскакивал из ящика, как черт на пружинке, — не тут, так там, хоть бы и в Голландии. Но версия о его позднем открытии все-таки по-прежнему буржуазной науке очень нужна. В том числе и для того, чтобы задержать его открытие.

Не странно ли, не потрясающе ли — на родине Жана Мелье, во Франции, его «Завещание» было опубликовано единственный раз в сокращенном виде, второстепенным анархистским издательством. Даже ко дню трехсотлетия его рождения не предпринято серьезного научного издания этого, как гром, оглушительного акта французской культуры. Зато опубликовано некоторое количество наукообразной мерзости, в которой на самой поверхности плавают брошюра воинствующего католика Ж.Маршаля (1957).

Кстати сказать, эта брошюра, как и некоторые статьи, появилась в ответ на один из докладов, представленных в 1955 году советской делегацией на X Международный конгресс исторических наук в Риме (Б.Поршневу, Жану Мелье и народные истоки его мировоззрения). На страницах французской газеты «Монд» тотчас некий А.Муссе поспешил выразить удивление по поводу «открытия заново русскими Жана Мелье»; по его словам, грубые аргументы Мелье «еще могли бы послужить для антирелигиозной пропаганды среди советских масс, но приходится сожалеть, что тамошние образованные умы думали обнаружить здесь творение, имеющее литературную Ценность, или образец французской ясности». Упомянутый Ж.Маршаль сокрушается по поводу того, что Мелье «снова входит в моду», что «вырисовывается тенденция сделать из него одного из отцов того

социализма, который именуют утопическим... Бедный социализм!» Но, не смущаясь противоречием, Ж.Маршаль вопит, что революционные идеи Мелье — это же «полнейший анархизм», «разгар утопии», куда там, Мелье — «большевик задолго до появления этого слова», а его призывы к народам земли могли бы явиться «предисловием к „Манифесту“ Карла Маркса».

Все это переодевание — для того, чтобы увести Мелье со сцены XVIII века, вытолкать его за кулисы. Он, видите ли, просто случайно ввалился или его на смех втянули в ход изысканного спектакля. Господа его выпотрошили, посмеялись и вышвырнули. У Маршала это звучит так: «И вот какое открывается зрелище: литераторы завладели его писаниями, поперечеркивали их, понаделали выжимки, повыбрали мысли; их держали под домашним арестом в строго ограниченном числе экземпляров, за которые драли изрядную цену, и эти страницы, призванные взбунтовать мир, распространялись среди привилегированных — будь то по привилегии богатства, рождения или ума — для их вящего развлечения».

Какая трагедия — до такой степени не понимать свое национальное прошлое!

Франция всегда любила своих Гаргантюа, своих сказочных великанов. Она до сих пор не признала своего несказочного великана Мелье. Одного из величайших сынов французского народа. Он отверженный. Остается отверженным до сих пор, когда его отнюдь не самые отважные духовные питомцы давно увенчаны бессмертием.

Легенда требует, чтобы в XVIII веке его не знали.

Что же делать с тобой, упрямая, злая, высокоученая легенда, будто Мелье не было, ибо признать допускаемую тобой малость его известности и влияния — это почти все равно, как если бы его и не было? Что делать с тобой, вещающей, что просветительство уже сложилось к тому времени, когда Мелье был полуоткрыт Вольтером и вновь с легкостью забыт? Что делать, чтобы вернуть Мелье из XIX и XX веков в XVIII? Что с тобой делать, всепобеждающая, безразличная ко всем фактам, ибо питаемая чем-то совсем другим, легенда? Либо сложить оружие, либо узнать, чем ты питаешься.

Сегодня Жан Мелье «закрыт» куда более замысловато, чем во времена подлости «общества святого Виктора». Современная зарубежная наука добросовестно вскопала вокруг него целые холмы знаний. Но он одинок, отторгнут: ни из чего не изошел, ни во что не влился, ни на кого не повлиял. Никем не услышанный крик в пустыне. Мелье — драгоценная находка для историков, но своего следа в истории не оставил. Иными словами, изучая

Мелье, мы лучше понимаем прошлое, но если его и не было бы, прошлое осталось бы таким же.

Вот что это значит: если Мелье действительно был тем, чем он был, история Просвещения писалась прежде неверно. Советская наука шаг за шагом пишет Просвещение заново, как она во многом переписывает по-новому и Великую революцию 1789 года. Таково уж захватывающее призвание передовой исторической науки: Энгельс говорил, что предстоит переписать всю человеческую историю. Этого хватит надолго.

Чтобы переворачивать кое-какие огромные пласты этой земли, Жан Мелье неплохая точка опоры, если выражаться по-архимедовски.

Глава 2. Дыхание народа

Задавленный, угнетенный, но и исполненный потаенной жизненной силой, богатый здравым смыслом и крепким чувством, французский народ время от времени то тут, то там сокрушительно и буйно восставал. Стоит почитать, как описал Ромен Роллан в «Кола Брюньоне» эту черту, без которой, он чувствовал, немислим и ложен портрет старой Франции: мятеж простонародья, слепой и мудрый, взрыв ярости, когда все идет к черту...

Это маленькое извержение вулкана в городке Кламси в XVII веке, было ли оно или не было на самом деле, напоминает десятки, сотни других подобных извержений лавы на карте Франции XVII и XVIII веков. Феодално-абсолютистская Франция, блестящая Франция, законодательница вкусов, мод и разума для всей Европы, предмет зависти для всех дворов и держав, была, оказывается, вулканической страной. Извержения бывали маленькие, большие, огромные. Историки мало интересовались ими, и о многих до сих пор еще никем не процитировано ни одно пылящееся на архивных полках чиновничье или военное донесение вышестоящим властям. Но все-таки удивленные и внимательные глаза историка уже увидели сейчас эту панораму огнедышащих кратеров, отмечающих «великий век» Франции, — взрывы отчаяния и надежды трудовой голытьбы то отдельных городов или сельских местностей, то целых провинций или громадных областей страны.

Геолог изучает извержения вулканов, чтобы проникнуть мыслью под земную кору, узнать о скрытых сдавленных там раскаленных газах, кипящей магме. Само извержение — это только более или менее случайный прорыв скованных подземных сил благодаря какой-либо трещине или местной неполадке в крыше земли. Как и геолог, историк изучает разрозненные извержения лавы народной ненависти, отдельные землетрясения и подземные толчки для более широкой цели. Он как бы заглядывает глубоко в душевные страсти обычно неприметного простого народа, под поверхность его скудных будней и скупых праздников. Народные жестокие бунты под гул набата и зарево пожаров — это для историка не только исключения из правила, но и смотровые окошечки, через которые можно увидеть повседневные скованные душевные движения, помышления, настроения, инстинкты народных низов, наличные и в условиях «порядка», а не «беспорядка». Разбирать духовную атмосферу отдельного мятежа простонародья — все равно что

расшифровывать электрокардиограмму, открывающую тайны больного сердца. Ведь и не было явного рубежа между редчайшими взрывами народной стихии и мирной жизнью: как в кратере бездействующего вулкана геолог замечает то выбросы, то жгучие пары и жар, так, кроме бунта, есть и ропот, и распря, и вспышка, и обида, и уход в отчаянии куда-то из родных мест. Это уже не было исключением, это вплетено в ткань почти каждодневной жизни. Так изучение народных восстаний во Франции XVII–XVIII веков ведет к познанию того, что кажется почти неувловимым, — настроений народной массы.

А именно настроения нам и надо знать. «Настроение»! Удивительное, богатейшее понятие, которое так любил и так часто применял Ленин. Он утверждал, например, что в передовой русской мысли XIX века, в смелых идеях Белинского отразилось настроение крепостных крестьян, их возмущение крепостным правом, отразилась история протеста и борьбы самых широких масс населения против остатков крепостничества во всем строе русской жизни.

О настроениях и помыслах крестьян говорил Ленин и анализируя позицию Л. Н. Толстого: «Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России... Века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости». По мнению Ленина, критика окружающих порядков Л. Н. Толстым потому отличалась такой силой чувства, такой страстностью, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в стремлении «дойти до корня», найти настоящую причину бедствий масс, что эта критика отражала настроение миллионов крестьян. Согласно мысли Ленина Л. Н. Толстой сумел с замечательной силой передать настроение угнетенных широких масс, «выразить их стихийное чувство протеста и негодования», накопленное веками, против старого средневекового землевладения и всего существующего порядка частной поземельной собственности; против крепостного права; против помещичьей монархии с чиновничьим и полицейским произволом и грабежом; против казенной церкви с ее иезуитизмом, обманом и мошенничеством. Идейное содержание писаний Толстого соответствовало крестьянскому стремлению смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, расчистить землю, создать на месте полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян.^[1]

Нам же надо знать настроения и стихийные чувства французских крестьян дореволюционной Франции, если мы хотим узнать глубочайший источник дум Жана Мелье. Об этом-то настроении, о состоянии умов и чувств миллионов французских крестьян времен старого порядка и свидетельствуют извержения лавы народного гнева. Цепь упорных, неистребимых восстаний крестьян и городской бедноты во Франции тянулась через XVI век, прорезала XVII век и вышла в XVIII век — век, завершившийся Великой революцией.

В XVI веке эти бурные разливы яростного народного бунта были еще соединены с фанатизмом веры: одни резали и громили католиков, затем другие с таким же ослеплением лили потоки крови еретиков-протестантов. И только в конце века, обессиленные и растерянные, стали они все яснее смекать, что корень их бедствий не в той или другой вере. Они замечали, что против них легко вступали в тайные сговоры укрывавшиеся от них по замкам дворяне, и тогда жаки принимались давить господ, не вникая в то, гугеноты они или католики. Более простые жизненные истины и нужды промывали простым людям глаза. Хронист писал в 1596 году: «Крестьяне были расположены к восстанию против дворянства... Не желая быть никому подчиненными, они говорили, что будут все равны, с тем чтобы никто не имел никакой власти, ни суда над другим».

Шквал городских и сельских восстаний первой половины XVII века отмечен полным исчезновением всяких ссылок на религию, на волю Божию, на защиту истинной веры от ложной. Люди поднимались и бились за заурядные земные дела. Бесконечно слепыми они оставались и теперь — ожесточались вдруг против какого-нибудь нового налога или притеснения, переполнившего в эту минуту чашу их долготерпения, гнали и истребляли налоговых откупщиков и чиновников, а если распространяли действия на сельских дворян и городских богачей вообще, то оправдывали свою ненависть к ним тем, что подозревали их в содействии этому ненавистному налогу. Суть этих восстаний бедноты лежала бесконечно глубже поводов, требований, сознания. Целые народные войны «кроканов», «босоногих», снова «кроканов» разливались то в западных провинциях в 1636, то на севере в 1639, то на юге в 1643–1645 годах. Ожесточенные бои увидели в те десятилетия на своих узких кривых улицах едва ли не все заметные города Франции.

На гребне этой волны народной стихии в середине XVII века возникло и общефранцузский политический кризис. Позже о нем полагалось писать шутливо, потому что он кончился ничем, а бедствия народа еще увеличились. Его называют Фрондой.

Жан Мелье родился, когда шла на подъем новая волна: «война саботье» 1658, «война бедняков» 1662, «восстание Бернара Одижо» 1664, «восстание Антуана Рура» 1670, огромное восстание 1675 года, пламя которого раскинулось из Бретани на добрый десяток других провинций. Вообще для этой поры заметна тяга, по крайней мере у вожаков движений, к преодолению их местной разобщенности, стремление всеми средствами переносить факел восстания из провинции в провинцию.

Мысль kloкочущих масс и их предводителей почти так же бедна, как прежде. Однако взгляды в историю восстания в Бретани в 1675 году. Поначалу было оно недалеким и близоруким, как другие: какой-то обидный акциз на гербовую бумагу, на какой полагалось писать прошения... А в разгар губернатор доносил из Бретани всесильному министру Кольберу в Париж: восставшие «равным образом и распалены против королевских эдиктов (о налогах) и полны решимости свергнуть иго дворян». Один священник записал в приходской церковной книге: «Простонародье поднялось против должностных лиц и налоговых сборщиков его величества, против дворянства, судей и против самой церкви». Один из крестьянских вождей, Лемуань, звал крестьян уничтожать сеньоров до последнего — «нужно искоренить их всех!». Из гущи восставших появились письменные программы — здесь отменяются все феодальные повинности, земля передается крестьянам, перечеркиваются привилегии дворянства, ликвидируются королевские налоги и все поборы в пользу церкви. Ничего более сильного не предложат и деревенские «наказы» перед выборами в Генеральные штаты 1789 года. А самые дерзкие помыслы и затеи устремлялись и дальше. Другой перепуганный приходский священник оставил в церковной книге такую летописную запись: «В 1675 году возникло восстание почти по всей Бретани и во многих других местах... Крестьяне решили, что им все дозволено, ввели общность имуществ...»

Великий век «короля-солнца» Людовика XIV. А воздух французских провинций накален и душен. Возьмем, к примеру, 1680 год. Жану Мелье в это время 16 лет. Переписка Кольбера полна забот о том, как успокоить народное недовольство, о котором что ни день ему пишут. То он советует королю подумать о снижении налогов: «Надо все время сознавать, что народ сильно обременен и что с самого начала монархии он никогда не нес и половины тех повинностей, которые несет сейчас»; то инструктирует одного из провинциальных интендантов, как наказать участников восстания: «Урок, который вы им дадите,

должен показать всему народу, что король не желает терпеть никакого мятежного волнения и что для народа нет другого выбора, как покориться воле и приказаниям его величества... Держитесь, пожалуйста, того убеждения, что

снисходительность к народу должна состоять в том, чтобы сурово наказывать начатки бунта, ибо всякая иная снисходительность побуждает его впадать в еще большие проступки». А народ не желал «покоряться»; «начатки бунта» в 1680 году вспыхивают в разных провинциях: в Перигоре «беспорядки» настолько серьезны, что зачинщики преданы публичной казни, в Пуату — «волнения», в Бургундии — целое восстание против нового налога на вино. «Бунты» разразились в 1680 году и в Шампани; здесь в одном местечке вооруженные жердями женщины напали сначала на судебного пристава, явившегося для объявления нового налога, затем на прибывшего судью, наконец на самого «этого изрядного мошенника» интенданта. Это было не что-либо экстраординарное, это были будни. Там, в Шампани, в другом глухом уголке родился и рос Жан Мелье.

Да, ему было шестнадцать лет. Кто знает, не был ли он свидетелем таких же событий? Он дышал этим воздухом. Сейчас нам важно даже не то, был ли он современником того или иного определенного большого или маленького извержения народного вулкана. Они были задолго до его рождения и продолжались после его смерти, бывали и в родной его Шампани и в очень удаленных провинциях. Но зарево и черный чад их стояли в небе Франции, не могли не достигать зрения, обоняния, слуха. Они отражали состояние духа народа.

Все же, конечно, важно знать факты о мятежном дыхании народа в годы, пока жил Мелье.

В 80-х годах (годы учения Мелье) кривая народных восстаний во Франции падает, в 90-х снова начинает подниматься вверх, чтобы разразиться в начале нового, XVIII века ожесточенной, странной, оглушившей Францию народной войной на юге, в Лангедоке. Странно в ней было то, что Франция была уже взрослее, а народное отчаяние вдруг снова — но в последний раз! — приняло характер сектантского возбуждения, самоотверженной религиозной ереси. Поднялись крестьяне-гугеноты против религиозных преследований. Целых три года, 1702–1704 вели маршалы «короля-солнца» кровавую войну против народа. Все образованные люди во Франции, нет, все, кто имел уши, чтобы слышать, были потрясены этой войной. За религиозными хоруговьями вскоре обнаружились знамена с лозунгом «никаких налогов», стали восставать и крестьяне-

католики.

Этот залп на юге Франции разбудил повсюду и умы и отвагу. Тотчас начались «бунты» уже по совсем другим поводам в провинциях Керси, Перигоре, Беарне, в разных городах. Министр Шамийяр приказывает в одном письме показать такой суровый пример правосудия, «чтобы этот народ понял, что впредь он уже не будет восставать безнаказанно». Но народ продолжал свое. Через год, в 1707 году, в провинции Керси разразилась новая крестьянская война, которую прозвали восстанием тард-авизэ (задним умом крепких). Еще через год, в 1709, чуть ли не по всей Франции прокатились крестьянские и плебейские волнения.

В Шампани то в одном месте, то в другом, ближе или дальше от Мелье, вспыхивали сначала бунты против взимания налога на вино, а в голодный 1709 год — из-за недостатка продовольствия в городах против скупки и реквизиции остатков хлеба — в деревнях. В Реймсе, опасаясь взрыва со стороны голодной бедноты, пытались раздавать хлеб в порядке благотворительности и в то же время насильственно выгоняли из города тысячи искавших здесь прибежища крестьян, странствующих монахов и студентов, даже избыток заключенных из тюрем. И все равно толпы громили хлебные склады в монастырях. А деревни заключали между собой союзы для противодействия какой-либо перевозке зерна. Крестьяне отбирали запасы хлеба у священников. Потребовалась посылка войск для подавления крестьянских волнений. И снова, снова, в 1710, 1713, 1714, 1715 восстания там и тут, в городах и целых провинциях. Против них посылают полки и полки, пехоту и кавалерию.

Мы увидим, что на эти годы пришелся крутой кризис в жизни юре Жана Мелье.

В первые годы царствования Людовика XV, а именно регентства Филиппа Орлеанского, буря как будто приутихла. Но с 1720–1721 годов стала разгораться вновь. То «голодные бунты», то «ужасное народное настроение» отмечают исторические источники в разных местах Франции за парадным фасадом нового веселого царствования. В 1725 году этими «настроениями» и «бунтами» охвачены провинции Гиень, Нормандия, Бретань, и правительство ничего с ними не может поделать. Симптоматично, что в самом Париже народ уже частенько буйно высыпает на улицы. И так вплоть до 1729 года, года смерти Жана Мелье.

Как будто и незачем заглядывать в годы, следующие за смертью нашего юре в его затерянной шампанской деревушке Этрепиньи. Но ведь нам сейчас нужно не его дыхание, а дыхание народа. Как ни было оно прерывисто и порой лихорадочно, порождавшая его болезнь и ее симптомы оставались теми же

стойко и долго, поэтому стоит пощупать пульс хотя бы одной Шампани и дальше, вплоть до Великой революции конца века.

В городах и бургах Шампани выступления рабочих и бедноты тянутся сплошной цепью. Их поводы и толчки бесконечно разнообразны. Крупным очагом волнений, как и в XVII веке, оставался главный город Шампани Труа. В Реймсе тоже, например, в 1770 году «мелкий люд» города, рабочие предместий, а затем и примчавшиеся из всех окрестных деревень крестьяне несколько дней держали потрясенный город в грохотающей на улицах грозе бунта. Потом их «усмирили», многих перевешали. В городках Шалоне, Витри, Дормане, Фиме, Кюмьере, Вилль-ан-Тарденуа, да разве перечислишь их всех, в последние десятилетия XVIII века этот гром принимался грохотать и эти молнии сверкали неоднократно. А в некоторых сельских областях бурно отозвалась затронувшая не одну провинцию «мучная война» 1774–1775 годов. Еще бы: как раз в 1775 году один австрийский дворянин, побывав в Шампани, писал, что «тут и женщины, запряженные в плуги, и клевер в пище крестьян из-за отсутствия хлеба, — они выглядят несчастнее, чем крепостные у нас». В деревнях Шампани шла то разгоравшаяся, то скрывавшаяся на время под наружным пеплом полная свирепости и отчаяния борьба виноградарей, пахарей, овцеводов, поденщиков, кустарей — то против нового налога, то против притеснений сеньора, то против скупщиков или ростовщиков. Таким был и оставался воздух Шампани, пока он не слился с общепольским шквалом и извержением 1789–1793 годов.

Вернемся к Жану Мелье. Дело не в том, знал ли он о всех известных историку народных восстаниях, взорвавшихся в годы его жизни. Важно, что к нему можно приложить те же слова, которые Ленин сказал о Л. Н. Толстом: что в своем учении он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, отразил «великое народное море, взволновавшееся до самых глубин...»[2]

Вероятно, в общем Мелье слышал и знал и более конкретно и о большем числе разных народных бунтов, чем знаем мы сейчас. По словам одного интенданта, в народе их «разглашали как геройские дела». Реймская епархия, как и всякая иная, была осведомлена о них и не все скрывала от низшего клира. Соседние кюре, несомненно, нет-нет да обменивались политическими сплетнями и пугающими слухами о мятежах. Но об иных из них слухи и не достигали глухого прихода Шампани, где служил Мелье. В общем же не приходится раздумывать: да знал ли кюре из Этрепины о бушевавших во Франции народных восстаниях? Он прямо ссылается в «Завещании» на опыт народных восстаний.

Он напоминает читателям, как о деле всем известном, каковы бывали последствия, «если какой-нибудь из его (короля) городов или какая-нибудь из его провинций дерзали противиться ему или стряхнуть с себя его иго. Но не то было бы, — продолжает Мелье, — если бы весь народ, все города и все провинции пришли к единодушию, если бы они все сговорились между собой».

Можно сказать, через все «Завещание» проходит анализ этого живого исторического опыта: что раскалывает народ, чем объяснить вспышки борьбы лишь порознь по разным городам и отдельным провинциям, которые порознь легко и подавлять.

Но главное не в том, о каких именно народных восстаниях Мелье что-нибудь слышал. Даже если бы он и вовсе о них не слышал: ведь эти восстания были лишь внешними прорывами настроения, преисполнявшего все французское крестьянство. Кроме разразившихся восстаний, сколько было «неродившихся», оставшихся лишь в помыслах, в сокровенных беседах или тайных сомнениях едва ли не любого бедняка в любой из бесчисленных деревушек Франции, — а кому, как не священнику, снискавшему доверие прихожан, было знать все их мысли и чувства.

Мелье пишет и о своего рода малой войне, или партизанской войне правительства и народа, невидимой на первый взгляд войне, которая постоянно шла в недрах Франции, в глубинке всех провинций и сельских областей. Мелье так изображает эту невидимую гражданскую войну, что не остается сомнений в его близком знакомстве с ней. Если народ, пишет он, не повинуется немедленно королевским указам и распоряжениям о каких-либо новых поборах, то тотчас в деревни отправляют солдат для насильственного принуждения народа. «По селам ставят солдатские гарнизоны или другую подобную сволочь, которую крестьяне обязаны кормить и содержать изо дня в день на свои средства, пока не исполнят целиком то, что от них требуется. Часто из опасения не получить платежа к ним посылают солдат даже заранее, еще до наступления срока, так что на бедное население обрушиваются постой за постоем, кара за карой; его преследуют, притесняют, попирают, обируют на все лады. Напрасно жители жалуются и делают представления о своей бедности и о своем несчастном положении; на это не обращают внимания, их даже не слушают».

Наиболее яркие впечатления Мелье мог получить как раз около 1680 года, когда в Шампани отмечены и вспышки крестьянских бунтов. Еще задолго до того вносились предложения распределять солдат на постой в зависимости от достатка каждой деревни, но для этого требовалось составить точные описи хозяйственного положения по приходам. И вот в

накаленные годы, с 1678 по 1681, была проведена эта кропотливая работа по всей Шампани, работа, имевшая чисто полицейскую цель — давить деревни солдатским сапогом не вслепую, а с точным расчетом.

В лесах Аргонны и Арденн, к которым вплотную примыкает Этрепины, велась и другая форма малой войны. Многолюдные банды, опиравшиеся на все окрестное крестьянство, занимались добычей соли в обход королевской монополии. Тщетно специальные военные отряды разыскивали и преследовали их. В одном из округов в 1708–1709 годах было захвачено 149 человек, двое убито, четверо приговорено к смерти, двадцать — к галерам. Но вскоре все начиналось сызнова. Крестьяне не желали помогать карателям.

А вот еще более мелкая, повседневная война в деревнях Шампани. Уже с конца XVII века крестьяне демонстративно не приветствуют своих сеньоров «как положено»; на них сыплются наказания то за то, что «смотрели с вызывающим, надменным и наглым видом», то за то, что держали руки в карманах, вместо того чтобы снять шляпу, и «взирали на своего дворянина с нахальством». Этими казусами занимаются в XVIII веке судьи и интенданты. Вот крестьяне забросали камнями карету сеньора, находившегося в тяжбе с населением своих деревень. Вот снисходительные слова одного юре: «народ настолько страдает, что подчас совершает несправедливости», и явно лживые слова другого юре, заверяющего архиепископа, что «в настоящий момент никакие симптомы не заставляют предвидеть, чтобы крестьяне взбунтовались и замутили бы покой и общество». Пребывавший в Шампани финансовый чиновник писал в частном письме к родственнику: «Враждебность сельского люда к своим сеньорам повсюду тут достигает крайней степени...»

Это значит, что не только доносившиеся порывы из большого общефранцузского мира снабжали Жана Мелье исходным материалом для его философии — настроением, чувством народа, но и микромир его приходов Этрепины и Балэв.

Словами, что это были настроения и чувства, а не идеи или сознание, сказано многое. Тут царила и правила стихийность. Речь идет прежде всего не об идеалах и целях, а о протесте и негодовании. Стихийность — это борьба не столько «за» что-либо, сколько «против» чего-либо. Всем этим массам бедных людей, испытывавшим разорение, нищету, отчаяние, сама жизнь ясно показывала, откуда непосредственно накатывались на них бедствия, они более или менее ясно видели ближайших врагов, но ни для успеха в борьбе с ними, ни для лучшего устройства жизни не имели ни вида вдаль, ни сколько-нибудь ясной

программы действий. Царство стихийности — это царство отрицания: протеста, отчаяния, ненависти, возмущения, утраты истонной веры в незыблемость давящих порядков, отказа от рабской покорности стоящим выше, повелевающим, указующим.

Но уже и эта психология людей и их действия во время стихийных бунтов таили в себе как глубоко упрятанный крохотный зародыш, как пока еще не проявившуюся логическую возможность добрых три идеи. Ведь эта психология означала крушение взращенного почтения и доверия к трем идеям: к авторитету имущества, собственности, богатства; к авторитету власти, начальства; к авторитету религии и духовенства. Если бы кто-нибудь сумел додумать до корня, обобщить это крушение трех идей, трех авторитетов! Он нашел бы на дне три сокровища, целое мировоззрение.

Прежде всего видно, что ведь все народные волнения, бунты, восстания, при всей безмерной пестроте их поводов и обстоятельств, разыгрывались вокруг вопросов собственности и по поводу собственности. Какой-нибудь новый налог — это покушение на личную собственность трудящихся; они отказываются отдать свое имущество, прогоняют сборщика, избивают стрелков, полицию, пытающихся взять их имущество насильно, идут толпой громить контору и дом откупщика налога, отнимают у него собранные суммы, раздают их, уничтожают его имущество как незаконно нажитое за счет народа, отказываются платить всякие налоги, распространяют погромы на другие налоговые учреждения, на частные дома всех, кого называли «габелерами», то есть вложивших деньги в доходы от собирания налогов, наконец, и на дома всех богатых вообще — такова по большей части картина восстания городской бедноты, вызванного налогами. Сплошь и рядом и крестьяне огромными толпами врывались в город и сливались с толпой, вопящей на улицах, разрывающей мостовые, швыряющей булыжниками, громящей «габелеров» в отмщение за несправедливое покушение на их нищую собственность.

В деревне же бывало и так: крестьяне отказываются уплачивать какой-либо феодальный побор, отбывать какую-либо повинность земельным сеньорам — от обороны своего хозяйства, своей собственности шаг за шагом они переходят к нападению на собственность сеньоров, нажитую за их счет, громят и жгут их поместья и замки, вырубая их сады, истребляют документы, лживо подтверждающие права сеньоров на земли и на повинности; и логика схватки подчас сама собой доводила до отрицания всяких прав и монополий этих дворян, этих сеньоров, этих помещиков. Мы находим такую отмену разом всей

феодалной собственности, хотя бы на словах, в разных «статьях» и программах крестьянских восстаний, в том числе в Бретани в «Крестьянском кодексе» 1675 года, а к концу XVIII века — и в бесчисленных крестьянских «наказах».

Эти накаленные рукопашные битвы лицом к лицу неимущих с имущими и по поводу имуществ при всей их близорукости пробуждали тени каких-то мыслей вообще об имуществе, о собственности и об ее отсутствии. Первым мотивом народных мятежей многие документы называют «нищету», «отчаяние» людей, которые «устали страдать» и которым «нечего терять». Но ведь каждый в толпе считал себя не грабителем, а перед совестью и ближними оправдывал свой бунт тем, что эти богатства сами незаконно и несправедливо награблены у него. Разве не знаменательно, что сплошь и рядом восставшая беднота считала «вопросом чести», громя и сжигая имущество богачей, ничего не брать себе, не грабить награбленного в свою личную пользу. За такими делами чуются уже раздумья о собственности.

Иногда в ходе боев мысль шла и дальше. Во время восстания в городе Ниоре в 1624 году мы видим во главе толпы какого-то монаха, по имени Каликст, который «проповедовал на городском рынке восстание и поучал, что грабеж припасов есть законный акт». И полтора столетия спустя, во время «мучной войны» голодных деревенских и городских низов, звучали такие же мотивы погрома хлебных спекулянтов.

Былая вера в незыблемость и неприкосновенность существующих имущественных отношений расшаталась до самого корня. Народные восстания пытались ударять по ним на практике, а это расшевеливало и тугую народную думу. Ведь надо было что-то возражать тем, кто отговаривал так действовать. Иногда пробуждающаяся мысль пытается апеллировать к «старине», «старой правде»: законны только те платежи земельным собственникам или только те подати, которые не моложе, например, времен Генриха IV. Иногда эта «старая правда» относится к мифической древности, и крестьяне требуют «вернуть им собственность на их землю», которую они якобы когда-то имели.

А подчас не видно и ссылок на старину. Просто-де надо забрать награбленное, переделить или впредь уже и оставить добро ничьим, мирским. По документам восстания в Бретани в 1675 году мы уже заметили все эти помыслы. Неизвестно, конечно, означала ли отмеченная перепуганным сельским священником «общность имуществ» практику или идею восставших крестьян, но уверенно можно сказать, что этот листок бумаги свидетельствует о глубочайшей ломке самых коренных

понятий о собственности, происходившей где-то в недрах психологии и сознания народных масс Франции. Почвой этих настроений была борьба с феодальной собственностью, и без этих настроений она не могла увенчаться победой.

Но могучий взмах от отрицания до утверждения, от стихийного настроения к осознанной идее, хотя бы еще и бесконечно далекой от научной теории, впервые во Франции свершил лишь ум Жана Мелье. Дыхание он превратил в плоть. Из этих зачатков Мелье развернул цельное, страстное, непримиримое учение, обращенное к массам.

Вторая идея, возможность возникновения которой была невидимо скрыта в самом факте неудержимого половодья народных восстаний, — это идея их победы. Раз люди бьются, хотя бы и совсем стихийно, они чают победы. Они бились снова и снова, и это значит, что где-то маячила никем еще до конца не осознанная идея свержения существующих властей, стоящих на пути любого из восстаний. Идея торжества народа. Власти охраняли «порядок». Нельзя было затронуть «порядок», нельзя было шелохнуть его, не вступив в столкновение с полицией, жандармерией, судом, с администрацией городской, провинциальной, королевской, с армией, буржуазной милицией городов, вооруженным дворянством. Каждая попытка народных низов оказать какой-нибудь коллективный отпор тому или иному новому экономическому притеснению оказывалась их столкновением с властями — «бунтом». Не хватало сил местного аппарата власти для подавления «мятежников» — присылались королевские войска из центра или снимались с фронта; выдыхался авторитет местных властей — за ними вздымался авторитет самого абсолютного монарха — Людовика XIII, Людовика XIV, Людовика XV...

Падала в народе рабская покорность перед начальством. Чиновные донесения в Париж с однообразием повторяют о недостатке в народе уважения к магистратам, о растущей непокорности «черни», ее «непочтительности», «наглости». Интендант из Лангедока пишет, что новый нажим «еще увеличивает упрямство и заставляет еще сильнее разразиться неповиновение народа». Из Дофинэ: «Когда приставы приходят в деревенские общины, на них уже поднимают камни; заставить слушаться затруднительно». Из Прованса: «Этот большой народ не знает ни что такое любить своего государя, ни что такое его слушаться». Из Бордо губернатор с тревогой пишет о «частых наглых выходах и вольностях, которые позволяют себе некоторые бунтовщики, то распространяя мятежные писания, то произнося дерзкие речи даже в присутствии своих магистратов».

Вот одно из восстаний потерпело поражение, но губернатор добавляет: «Неудачи, которые потерпел народ, поистине вырвали у него лишь оружие из рук, но отнюдь не бешенство и не злую волю из сердца, также и не дерзкие и мятежные речи из уст». Из Лимузена: «Народ в деревнях что-то уж слишком склонен к свободе и к восстанию». Об участниках восстания: «Они совсем не опасаются наказания и провозглашают свое преступление знаком своего мужества».

О другом восстании: власть короля «была чрезвычайно поколеблена в умах народа, и следует опасаться, что ее не удастся восстановить иначе, как с превеликим трудом». Другое донесение вторит: «Мы живем в такое время, когда не следовало бы безрассудно плохо обращаться с народом. Бесполезная суровость только вырывает из его души последние остатки его преданности государю». Из провинции Гиень: «Должен сказать вам, что в Перигоре народ начинает грозить всем, кто служит по королевским делам»...

Сведения о бесцеремонных расправах восстающего там и тут народа с лицами, облеченными властью, от самых низших до самых высших, об угрозах властям буквально бесчисленны. Случались брань и оскорбления и по адресу королевской персоны. Правда, чаще кричали что-нибудь вроде «Да здравствует король без налогов!», но ведь так кричали и во время революции в конце XVIII века, пока не подошел момент рубить королю голову. Венецианский посол доносил к себе из Франции в середине XVII века о «ропоте и ненависти к правительству», о повсеместных восстаниях, которые, однако, остаются раздробленными, так как народ «не может подняться без руководства и ему хватает сил лишь на то, чтобы излить негодование в ругательствах и проклятиях по адресу правительства».

Да, народные восстания были распылены, и их удавалось усмирять. Но ведь в каждом брезжила надежда на победу, без нее люди не дрались бы. А если заглянуть чуть вперед, что же это такое — победа, что она сулит? Что за «свободу»? В провинции Нормандии в 1639 году «босоногие» со своим вожаком Жаном Морелем, каким-то очень бедным и очень смелым приходским священником, может быть похожим на Жана Мелье, на несколько месяцев установили свою власть, издавали свои законы, писали в другие провинции Франции с призывом присоединяться к ним. В провинции Виварэ в 1670 году восставшие крестьяне в воззвании писали, что «пришло их время и не годится им всегда оставаться слепыми». «Пришло время исполниться пророчеству, что глиняные горшки разобьют железные горшки. Проклятие

дворянам и священникам, врагам нашим!» В Бретани в 1675 году крестьяне, гневается один судебный документ, «говорили, что наступило время их абсолютного полновластия, издевались над нашим повелителем королем и над его эдиктами, так же как над судом и над всеми, кто вершит закон, и заявляли, что они заставят признать себя и слушаться».

В таких выступлениях и в сотнях им подобных пробивается сквозь всю коросту навязанных мнений мысль, что восстание народа дело доброе, правое, верное; местные власти то и дело жалуются в донесениях в Париж, что народ рассматривает мятежи как героические деяния, а никак не хочет видеть в них, как полагалось бы, ни преступления, ни греха. Упрямой поросль пробиваются в этих бунтарских лозунгах зачатки мыслей о власти победившего народа, о народоправстве, общежитии свободных и равных крестьян.

Но это отрицание прав и всесилия существующей власти только в мозгу Жана Мелье было переработано в утверждение: в идею революции. До Мелье (и долго после него) не было во французской общественной мысли идеи победы восставшего народа.

Третья идея, скрывавшаяся глубоко-глубоко на дне настроений и неясных мыслей боровшегося народа, идея, как и две предыдущие, лишь возможная, если ее кто-нибудь поднимет с этого дна, из действий, из практики, из стихии народных восстаний, — это идея безбожия.

Едва ввязавшись в борьбу, крестьяне и плебеи с каждым часом все непоправимее, очертя голову нарушали суровую заповедь царившей в их сознании религии. Они еще не могли как-либо обобщить и в форме новых додуманных мыслей выразить этот накапливавшийся опыт: церковь грозила нестерпимейшими загробными муками за участие в неповиновении, в возмущении, ибо всякое человеческое неповиновение есть повторение восстания сатаны против бога. А вот голодный желудок, голодная семья, оскорбленное достоинство, раненая справедливость — все влекло на бунт и возмущение. Надо было как-то осмысливать это, отмахиваться от попов с их угрозами, с их — сызмальства казавшимися незыблемыми — представлениями об аде, о грехе. И мысль теперь уже, увы, как-то не подкидывала спасительной уловки, как когда-то, лет сто назад: восстание тогда казалось оправданным, раз это восстание за истинную веру против сатанинских ухищрений воцарившейся ложной веры. Разве что восставшие в 1702–1704 годах крестьяне-гугеноты прибегли к этому старому утешению, в общем-то потерявшему силу над мозгами.

Духовенство и монахи с молитвами и проповедями, со святыми дарами и мощами, с крестами и святыми, со слезами на глазах и страстными увещаниями, а иной раз в старомодных доспехах и с алебардами преграждали дорогу любому народному восстанию. Церковь не менее активно противостояла всем этим бунтам и мятежам, всем этим войнам бедняков против богатых, чем государство. Бывало, что толпа поддавалась уговорам и закланиям. Но много чаще ей приходилось волей-неволей сметать и это препятствие, хотя бы и осененное крестом. О расправах с духовенством во время восстаний говорят многие документы тех времен. Вот в одном бургже жители оставили запертым на месте своего кюре, который вздумал в горячую минуту проповедовать им уплату налога. Вот из хроники о восстании в Виварэ в 1670 году: «Было опасно призывать народ к повиновению; священники в Лашанне, Мезильяне и других местах были погромлены за то, что говорили, что подчинение приказам короля есть божественный закон».

Частенько речь шла уже не только о духовенстве, но о самой вере. В сообщениях о ходе народных восстаний тут и там попадаются слова «кошунства», «богохульства». Необходимость убрать помеху с пути, трудные и неясные мысли в поисках оправдания своих действий выливались подчас в насмешки и гнев против церковного благолепия и благочиния, в погромы монастырей и церквей, в проклятия попам, монахам и самому богу.

Источники XVIII века, относящиеся к Шампани, рассказывают, что кюре во многих местах боялись своих прихожан, ставших от нищеты «озлобленными, мстительными, вздорными, исполненными ненависти». В особенности достается жителям протестантских приходов: они слышат «республиканцами», они «злобны, опасны, сварливы, мстительны, нарушители порядка». Но и в католических приходах эти настроения неумолимо распространяются на церковь и веру. В одном из районов Шампани «прихожане немного республиканцы, любят независимость, игру, вино, танцы и удовольствия, они необузданны и богохульствуют, а во время крестного хода и мессы устраивают скандалы». Один приходский кюре пишет: церковь оскорбляют, обряды презирают, все идет от плохого к худшему, и крестьяне выражают свое недовольство всякими «насилиями». Некоторые кюре Шампани сигнализируют о распространении безверия, и том, что крестьяне отказываются перед смертью от Причастия. Прихожане, жалуется кюре, «не хотят подчинения, прививают молодежи дух независимости, безверия, вольнодумства, а кюре очень трудно заставить слушать

свои советы». «Жители полны гордыни, плачутся на судьбу свою и возлагают ответственность за беды свои и нищету на знать и на бога». «Они не ходят в церковь, пренебрегают причастием, Не набожны, безразличны к религии». «Вот уже много лет они преследуют служителей культа, обращая на них свою ярость, злобу, самую черную клевету».

Но сомнения, доводы против вдалбливаемого и Заучиваемого на протяжении всей жизни вероучения. Лишь по крупичкам накапливались в тайных уголках мысли, в семейной тиши, складывались кроха к крохе в строе характера и настроения от отцов к детям, от Дедов к внукам. Как черпнуть этой злой гущи с самого дна, выжать ее, спрессовать да так закалить в огне мысли, чтоб она сделалась крепче и грознее стали?

Этот скачок совершен в «Завещании» Жана Мелье. Три идеи Жан Мелье выплавил из огнедышащей и чадом окутанной стихии народного протеста против всего строя жизни и мысли. Сравнительно с настроениями это был огромный скачок. Народ не имел образования. Феодальная, абсолютистская, католическая идеология была старой, привившейся, всесторонне разработанной, обладала огромными средствами распространения. Для поединка с ней нужно

было не настроение, а ее же оружие. Надо было его выковать. У народа не было своей интеллигенции. Надо было из земли выйти богатырем.

Чтоб поднялся эдакий богатырь, он должен был обладать чувством, что широчайшие народные массы Франции ждут его слова, как сухая земля ждет дождя. Мелье должен был с огромной силой почувствовать и сконцентрировать в себе ощущение, что старый способ мышления расшатался в самом низу — потерял воздействие на народ. И в самом деле, тревожный общий голос представителей власти на местах: народ не слушается уговоров, его не вразумишь, доводы и резоны почти не действуют на него. Один провинциальный интендант, ссылаясь в письме на свое отличное знание «крайней нищеты здешнего народа и необыкновенного волнения в умах, которое она вызывает», советует правительству всеми возможными средствами «расположить к послушанию умы, которые трудно убедить слушаться, когда желудки голодны, и которые крайняя бедность сделала невосприимчивыми к уговорам». Иначе говоря, потеряли силу аргументы, которыми прежде можно было урезонить и успокоить народ: духовенство и «благоразумные», «мудрые» люди призывали к порядку и покорности, клеймили дух сопротивления, а нищета, голод, материальные условия упорно требовали этого самого сопротивления и, значит, расшатывали

авторитеты. О казнях «бунтовщиков» в городе Кане мемуарист рассказывал с ужасом: «Они умерли без раскаяния в своих грехах, говоря отвратительнейшие слова о том, к чему должны были бы питать величайшее почтение». Такова та вспаханная почва народного духа, куда уходят глубочайшие корни идейного переворота, огромного подвига мысли, совершенного кюре Жаном Мелье.

Писарев когда-то написал статью «Французский крестьянин в 1789 году». В этой статье, по его словам, стремился он «ввести читателя в ту таинственную лабораторию, почти недоступную для историка, где вырабатывается — из бесчисленного множества разнороднейших элементов и под влиянием тысячи содействующих и препятствующих условий — тот великий глас народа, который действительно, рано или поздно, всегда оказывается гласом Божиим, то есть определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий».

Беглые, короткие заметки ввели нас в кое-какие уголки этой таинственной лаборатории. До приговора еще далеко — его открыто масса французского народа произнесет только в великой буре конца века. Но в начале века находим мы почти недоступное взгляду историка чудо этой лаборатории: синтез из разнороднейших элементов голоса народа — кристально чистого, уверенно возвещающего победу и приговор голоса Жана Мелье.

Был ли Мелье человеком совершенно единственным в своем роде? Нет, он был самым крупным и самым счастливым из других державших смельчаков, единственным оставившим неизгладимый след. Другие люди такого склада мыслей, которых эпоха с необходимостью порождала снова и снова там и тут, не сумели или выносить до конца эти три идеи, или высказать их со всей полнотой, или, что самое трудное, заставить себя услышать.

Эти люди должны были соединять в себе известную образованность, интеллигентность с близостью к народу по жизни, по роду своих занятий. Бывали среди них бедные нотариусы, адвокаты. Но большая часть, как и Мелье, принадлежала к низшему духовенству. Хотя вся эта великая армия низовых священников денно и нощно трубила в уши народу о покорности властям и господам, из их рядов могли появляться люди, способные атаковать эту главную помеху народному уму, религию, так как довольно знали ее.

Один сельский кюре, ставший, как говорили, эхом ненависти жителей к своему сеньору, уже обобщал с кафедры, что эти люди присваивают себе народное добро «насилиями, наглостью, палочными ударами и подкупом суда», они вырывают у крестьян пищу изо рта, «чтобы кормиться самим, да вместе со своими

девицами»; для обозначения сеньоров кюре придумал новые слова: «человеклюдоубийца», «человеклюдограбитель». Из провинции Овернь доносили в центр: «Некоторые священники призывали в проповедях не платить больше ни военной повинности, ни недоимок по талье; один из них находится сейчас в руках суда». Несколько позже оттуда же интендант пишет Кольберу, что «жители весьма мятежны», один местный священник «последнее время произносит сотни сумасбродств, говорит весьма нагло о короле», он арестован и находится в тюрьме. Другой кюре с церковной кафедры клеймил дурное обращение с народом, нападал на налоги, восхвалял римскую республику; он говорил и о «тирании» и о «плохом правительстве».

Видно, зачатки народной интеллигенции — и в том числе именно из рядов низшего духовенства — возникали как естественная поросль. То тот, то другой кюре привлекался и по церковной линии к суровой ответственности за всяческие проявления вольнодумства и кощунства. Очевидно, разные люди двигались в направлении тех обобщений, тех выводов, к которым пришел Жан Мелье.

Но немногие могли иметь столько непреклонной решимости ума, логического бесстрашия, силы и искренности в поисках правды, как он.

Глава 3. Неприметная жизнь

Жан Мелье родился, прожил шестьдесят пять лет и умер в тех местах, где неплодоносная Вшивая Шампань переходит в лесистую, изрезанную долинами область к северу от реки Эны. Земля тут была тоже иссохшая, в нее только запустили свои глубокие корни деревья и кустарники, частью искусственно насажденные человеком в многовековой войне с доставшейся ему сухой коркой земли «Мелье» — местное название привитого здесь лесоводами дерева мушмулы с терпкими, твердыми плодами.

Родители Жана Мелье, Жерар Мелье и Симфориенна Бреди, жили в одном из самых бедных районов Шампани, в деревне Мазерни, недалеко от города Мезьера. Жерар значился работником. Он занимался шерстоткацким кустарным промыслом.

В 1664 году у Жерара и Симфориенны родился сын Жан. Он был крещен 15 июня.

Чтобы понять кое-что в психологии крестьян, окружавших Жана Мелье, вот слова, которые Гольбах записал о них позже со слов своих друзей из города Мезьера: «В последние годы царствования Людовика XIV жители Шампани, изнемогавшие от налогов, каждый день читали молитву, в которой просили бога об одной милости — умереть в текущем году; они обучили и детей этой молитве» Жан Мелье был современником нескольких ужасных голодных годов, поразивших всю Францию, в том Числе и Шампань. Если годы его детства и юности, 60-70-е годы XVII века, были в целом трудными в экономическом отношении, временем дороговизны и недоедания, то в последнее десятилетие XVII века начинаются какие-то сумасшедшие скачки, словно новые и новые падения в экономическую пропасть, из которой затем общество с трудом выкарабкивается. Так продолжалось и в первой четверти XVIII века. Такими кричащими годами голода и вымирания были: 1693, 1694, 1698, 1709, 1725. В момент первой из этих катастроф Мелье не было еще тридцати лет. В момент самой страшной из них, в 1709 году, когда за немногие месяцы исчезло несколько миллионов французов, Жану Мелье было 45 лет. Во время последнего из отмеченных голодных годов, ужасные последствия которого ощущались еще в 1726 и 1727 годах, ему шел седьмой десяток.

Та семья в деревне Мазерни, в которой родился Жан, была крестьянской семьей, простонародной ветвью рода Мелье. Но та же фамилия несколько раз встречается в кратких надгробных надписях Реймского собора. Среди дальних родственников Жана

Мелье были и кюре и каноники. Это сплетение крестьянского и духовного звания было своего рода семейной традицией. Вероятно, она повлияла и на судьбу Жана.

Но навряд ли он очутился бы в рядах сельских кюре, если бы его отец не был человеком с известным достатком. Среди бедняков он был не из бедных.

Нам мало известно о Жераре Мелье, но мы знаем, что представляла собою сельская шерстоткацкая кустарная промышленность в Шампани.

Не имея возможности извлечь из своих земель достаточно дохода для существования и в первую очередь для уплаты всех податей и повинностей, крестьяне здесь почти поголовно с давних времен работали дополнительно на дому, изготавливая разные, по большей части грубые, шерстяные ткани. Работали они на скупщиков. Этот мирок скупщиков, мануфактуристов составлял целую пирамиду от крупных, опиравшихся на промышленность больших городов и их окрестностей, до мельчайших, гнездившихся в самых затерянных сельских уголках.

Жерар Мелье и его семья изготавливали саржу. Свозилась она скупщиками с обширной области в город Мезьер и оттуда сбывалась не только в Шампани, — но и далеко за ее пределами. Как и другие, Жерар Мелье, хоть и будучи преимущественно ткачом, отнюдь не терял связи с землей — в Мазерни у него были какие-то владения, может быть пашня, может быть сады. С большой вероятностью можно предполагать, что ему было невыгодно числиться полно-надельным крестьянином и что именно поэтому, то есть чтобы поменьше платить налогов со своей недвижимости, он сделал щедрый подарок сыну Жану, когда тот был еще юным семинаристом. Сохранился Дарственный документ от 13 февраля 1687 года о передаче Жераром Мелье сыну Жану дома Мазерни, по-видимому с приусадебной землей. Этот документ сопровождается свидетельством кюре этой деревни, что, как положено, три воскресенья подряд он на обедне в своей приходской церкви «огласил наследственное право метра Жана Мелье, причетника нашей епархии, изучающего в семинарии латинскую грамоту и богословие и намеревающегося стать священником, на дарованные ему различные владения, расположенные в пределах данной местности».

В этом даре, очевидно, слились и тайный хозяйственный умысел и выполнение обязательного требования минимального имущественного ценза для вступающего в духовный сан. Но этот дар бесспорно свидетельствует и о том, что семья была отнюдь не бедная, более того, достаток в семье явно прибавлялся: в этом документе Жерар Мелье записан уже не «работником», а

«торговцем из Мазерни» — он вырос в мелкого деревенского скупщика. Его жилистая рука крепко поддерживала сына.

Другую руку протянул крестьянскому сыну Жану Мелье из-под могильной плиты один из его дальних родственников, его тезка, каноник Реймского собора Жан Мелье, скончавшийся в 1679 году. Так можно думать. Ибо во главе реймской духовной семинарии стоял в то время преемник этого покойного Жана Мелье, возможно многим ему обязанный, каноник

Реймского собора Жак Каллу. Похоже, что он сильно порадел и в семинарии и позже Жану Мелье-младшему.

Жан Мелье был еще очень юн, когда родители за него выбирали ему будущность.

Это дело относилось прежде всего к расчетливости, да и к честолюбию крестьянской семьи. Раз в доме завелся хоть самый маленький достаток, вся тугодумная мужицкая изобретательность, вся многотрудной жизнью вскормленная деревенская сметка употреблялись на то, чтоб его не потерять, закрепить. Проестъ и пропить свои едва заведшиеся деньжонки? Это не только противоречило бережливости и рассудку. От соседей и деревенского сборщика налогов трудно было бы скрывать, что в доме едят лучше или укрываются теплее. Руссо рассказывал, как во время своих странствий, оставшись на ночлег в какой-то деревушке, он долго не мог выпросить у нищего хозяина даже самого скудного ужина, пока тот не убедился, что гость действительно случайный прохожий, действительно никак не причастен ни к каким налогам и поборам, и только тогда достал из тайника отличную и обильную снедь для трапезы. Налоговая коса начисто сбивала всякую неосторожно пробившуюся поросль хозяйственного достатка в семье. Дом, о котором говорили «зажиточный», уже обречен был на недалекое разорение: всегда находились те или иные предлоги или у сборщика налогов, или у местного сеньора, или у судьи, или у священника, или у самой общины подвести под какой-нибудь штраф, заставить внести недоимки за бедного соседа, что-то подносить, от чего-то откупаться, — словом, этому вожделенному и злополучному достатку, который столькими ухищрениями и стольким потом заполучали в дом, не было места в доме. Что же, прятать его в кубышке? Бессмысленно.

Во Франции XVIII века, где все держалось на сословных привилегиях одних людей перед другими, на беззащитности одних и огражденности других, надежно вложить достаток можно было только в чин, в званье, в ранг. Истратить деньги на приобретение сыну какой-нибудь службы в городе было, может, заманчиво, но и слишком дорого и слишком далеко за

горизонтом глухой деревушки Вшивой Шампани. И родители решили сделать Жана священником.

Это было верхом мечтаний множества крестьянских семей. Вывести своего отпрыска в ряды сословия, стоящего над простыми людьми! Пусть это был самый маленький шаг, но все-таки гигантский, потому что это был шаг через ту черту, которая влила всех людей Франции на две части — простых и непростых. И в то же время сельский священник тоже бы никуда и не уходил от дедовского лада жизни. Он оставался деревенщиной, во всем понятным, во всем своим. Только, кроме надежного прощания, прибавлялся ему еще некий небольшой авторитет среди вчерашней ровни. Как было не помечать, как было не поднатореть в крестьянской семье!

Обучаясь грамоте и начаткам знаний у деревенского кюре в Мазерни, Жан проявил способности интерес. Он подрастал. Родители в последний раз его подсчитали, все взвесили и отправили его учиться духовную семинарию в город Реймс.

Перед смертью Жан Мелье объяснял своим прихожанам, что он стал священником при полном безразличии к религии. В молодости, писал он, меня уговорили принять духовное звание, — я пошел на это, чтобы не огорчить своих родителей, которым очень хотелось видеть меня в этом звании, как более спокойным, мирным и почетным, чем положение среднего человека из народа.

У нас нет причин не доверять Мелье. Он мог сказать, что никуда был религиозен, потом понял свое заблуждение. Это звучало бы достаточно убедительно. Но он пишет, что смолоду не был верующим или суеверным. Такие слова, конечно, не означают присутствия атеистических идей в вихрастой голове деревенского парнишки. Но они, как все, что писал Мелье, дышат чистой правдой. Религиозное настроение как-то испарялось из духовного строя французской деревни вот уже на протяжении ряда поколений, хотя она оставалась исправно католической, всем миром бывала в церкви, исполняла обряды и возносила молитвы. Жан Мелье просто хочет сказать, что в своей душе, как и у окружающих, он не замечал религиозного жара, когда ему избрали духовное звание, но и не чувствовал причин противиться ему.

Деревенский парень живет в древнем, каменном, огромном городе. Юноша так мал, невзрачен и незначителен перед возносящимися в небо башнями и сводами Реймского собора, он тонет в его полумраке, озаренном неземной красотой огромных многоцветных витражей, его переполняют и несут густые, вязкие, тугие звуки органа, словно не имеющие источника, равномерно

наполняющие собор и, кажется, весь мир. Здесь, в Реймсе, в холодных стенах духовной семинарии, трудился крестьянский сын над усвоением тонн жестокой поповской латинской премудрости и драгоценных граммов знания и мысли. Здесь, в Реймсе, провел он годы.

Если когда-нибудь биограф и разыщет в архиве реймской епархии какие-нибудь новые скудные сведения о семинаристе Жане Мелье, они не раскроют тайны того, как делается великий человек. Он учился. Наверное, по-крестьянски, упорно. Утверждают, что в семинарии он держался особняком, не участвовал в общих забавах и казался своим товарищам человеком со странностями. Может быть. Вернее, что он был тут не очень в своем кругу, так как хоть и нет числа тем крестьянским хижинам, где родители мечтали послать своего сына в духовную семинарию, все-таки подавляющая масса молодых людей тут была из младших сынков беднеющих дворянских семей, из горожан, из чиновников.

О том, сколько священных книг, сколько античных авторов, сколько философских и богословских трактатов прочел и запомнил Жан Мелье в эти годы, мы можем судить лишь по сноскам и цитатам, уснащающим текст его произведения. Его действительно научили на всю жизнь умению приводить кстати и некстати изречения из отцов церкви и священного писания. Но все-таки именно здесь, в реймской духовной семинарии, может быть, в общении со светскими и духовными образованными людьми города, были заложены основы тех разнообразных и глубоких знаний, которые Жан Мелье кропотливо, упорно, настойчиво пополнял всю свою жизнь, научившись нуждаться в них, как в пище, как в воздухе, как в солнце. Здесь, по свидетельству «Краткого жизнеописания Жана Мелье», пристрастился он к философии Декарта.

Может быть, тут, в Реймсе, семинарист Жан из деревни Мазерни глотнул толику и другого вина, которое прижилось в его крови, — нет, не шампанского, хотя, наверное, попробовал и его из огромных бочек в погребах этой столицы шампанских вин, а иного: хмеля рабочего ропота и бунта. Мы уже знаем, как глубоко он был погружен в волны крестьянского гнева. Ну, а рабочего? В Реймсе и окрестностях жило добрых тысяч 30–40 рабочих, кустарей, подмастерьев одного только шерстоткацкого промысла. Город был полон и других мелких ремесленников, поденщиков, голытьбы. Столица епархии Реймс, как и столица провинции Труа, видели на протяжении и XVII и XVIII веков несколько безудержных извержений лавы плебейского гнева, а в исторических антрактах, как легко догадаться, лев не

превращался в домашнюю кошку. Жаркий воздух, которым дышали предместья Реймса, мог забросить кое-какие неугасимые искры в жилы деревенского семинариста.

Он переступал со ступеньки на ступеньку. Двадцати одного года он причетник, двадцати двух — дьячок, через год — дьякон.

Двадцати трех лет он окончил семинарию и был посвящен в священнический сан. Шаг через невидимую черту, разделявшую всех французов, совершился.

Очень скоро, в декабре 1688 года, по ходатайству главы семинарии каноника Жака Каллу, Жан Мелье получил временное место священника в городе Шалоне-на-Марне. Пробыл он там совсем недолго, пару месяцев, но вся жизнь его настолько принадлежала деревенской глуши, что каждое приобщение к городскому духу заслуживает упоминания и, наверное, по контрасту совершало в нем глубочайшую работу. В Шампани было мало больших городов, тем более центров культуры. Жану Мелье довелось жить в тех двух городах, Реймсе и Шалоне, где во второй половине XVIII века были учреждены литературные сообщества, а выросшая из этой основы провинциальная Академия в Шалоне сыграла свою роль в идейных битвах эпохи Просвещения.

Однако Жан Мелье делал свою предопределенную родительской волей карьеру. Он должен был вернуться в родные места человеком высшего сорта. В начале 1689 года двадцатичетырехлетнему кюре был дан самостоятельный приход. Это и было пределом мечтаний. Деревня, в которую навеки прибыл Мелье, называлась Этрепиньи.

Тень предшественника в этих местах не предвещала ему доброго. Предыдущий кюре, Жан Мартине, был в очень плохих отношениях с духовным владыкой — архиепископом реймским кардиналом Ле Телье. Монсеньор отзывался о нем раздраженно: «Безрассуден, груб». Монсеньор требовал от пожилого кюре выселить из дома жену и двадцатипятилетнюю дочь, так как их существование противоречило закону духовного сословия. В 1676 году прибывший с ревизией архиепископ записывает: «Я нашел этого кюре упрямым, самонадеянным и упорствующим в своем грехе, я приказал отправить его в тюрьму в Мезьере». Кюре Мартине сдался, его выпустили из тюрьмы, и он более или менее исправно отправлял свою службу, но через шесть лет новая архиепископская запись звучит погребально: «Ничто не изменилось». Вот на место этого неудачника, то ли окончательно засаженного в тюрьму, то ли умершего, и прибыл Жан Мелье в деревню Этрепиньи.

Ему было поручено также обслуживать прихожан соседней

деревни Балэв. Позже автор «Краткого жизнеописания Жана Мелье», затем Вольтер, а вслед за ними и другие вместо Балэв называли другую лежащую рядом деревушку — Бю (или Бютс), очевидно из-за того, что на своей рукописи Мелье написал сокращенно и неразборчиво: «Бал.»; впрочем, может быть не по обязанности, так по необходимости Мелье порой отправлял требы и в Бю. Все три деревни составляли тесный треугольник, ходу из одной в другую было с полчаса.

А самое важное, пожалуй, что Этрепиньи находилась всего в каких-нибудь 10–12 километрах от родной деревни, от Мазерни. Все было, как видим, устроено как нельзя лучше. Частенько можно было навещать свои скромные владения, свой сад в Мазерни; можно было сколько угодно посещать родных и принимать их в Этрепиньи, в доме при церкви, где он жил, внушавшем им гордость и почтение благодаря заботам содержавших его в исправности прихожан.

Приходскому кюре жилось иначе, чем крестьянам. Вот, например, предписания из королевского ордонанса 1695 года. Прихожане обязаны предоставить своему кюре подобающее жилище: две комнаты с каминами, из которых одна предназначена служить столовой, другая — спальней, а также кабинет, кухню и хлебный амбар. Кроме того, при квартире должны иметься колодец, отхожее место, кладовка и погреб. Если приход протяженный, надлежит добавить конюшню на одну-две лошади. Пусть это постановление королевского совета и не во всех случаях точно выполнялось, оно позволяет хоть несколько вообразить интерьер и ансамбль домика кюре при деревенской церкви.

Деревня не была простой суммой дворов. До самого конца дореволюционного режима все население деревни охватывалось словом «приход» и в то же время другим, менее ясным, менее юридически определенным, но более древним, более живучим и, может быть, более жизненным словом: коммюнтэ, община. В этом нам важно одно: сквозит, пробивается, не умирает в жизни народа едва видимая издали, но очень ощутимая в будничной близости общность. Крестьяне не совсем-то рассыпаны, как картошка из мешка. Есть и нечто придающее им чувство взаимосвязи и взаимопомощи. Важное, необходимое чувство, когда придет час борьбы.

Но трудно отделить общину от прихода. Вот в воскресный день, прослушав обедню, высыпали прихожане из церкви, и тут же превращаются они в мирской сход — обсуждают касающиеся их житейские дела. Церковь сама стремится к тому, чтобы приход и сельская община слились, чтобы кюре стал как бы главою

общинников. Духовенство, препоручая прихожанам часть расходов и трудов по содержанию в порядке сельской церкви, тем самым признавало за ними определенные права по собиранию и расходованию средств. Сама колокольня была чем-то вроде дозорной башни общины, а церковная кафедра — ее трибуной. Иногда после обедни, а иногда и во время проповеди священник оглашал законы и приказы, всяческого рода уведомления и приговоры о распродаже или наследовании имущества. Тот же священник оказывался председательствующим при разнообразных актах гражданской жизни, на разных собраниях и разбирательствах.

Выходит, что единственной повседневной организацией в жизни деревни была едва видимая на первый взгляд община, а единственным представителем власти и организатором — выпирающий на передний план кюре.

Своим присутствием он придавал своего рода священный характер не только смерти, свадьбе, крестинам, но и любому собранию жителей деревни по какому бы то ни было поводу. В свою очередь, он получал тем самым многие мирские обязанности: не было другого органа или лица для хранения завещаний, для регистрации рождений, браков, похорон. Прямым образом закон не предписывал и не запрещал священнику заниматься светскими делами прихожан. Но ведь кюре были и начитаннее и речистее всех других, поэтому их слушали. Счетов они тоже были обучены лучше остальных, и как-то само собой они командовали и раскладкой налога между общинниками; считалось к тому же, что именно они-то проявят при этом больше, чем другие, и справедливости и милосердия. Лиха беда начало, иные интенданты вменяли им это в прямую обязанность, на кюре сыпались запросы от провинциальных властей: то о числе и достатке жителей, то о заразных заболеваниях, то о падеже скота и прочих происшествиях.

Сбираясь в церкви во время обедни, прихожане насыщали здесь и свое политическое любопытство. Церковная кафедра была единственной заменой газет. Слушали с интересом: епископское письмо предписывало отслужить торжественную обедню по случаю победы, занятия города, заключения мира. Отсюда же узнавали о событиях в королевском доме — появлении на свет наследников и принцев крови, династических браках, смене венценосцев на престоле. Только так и доносились до темной, глухой деревни, до неумытого, безграмотного крестьянина отголоски большой политики, о которой историки позже писали большие книги.

Сельский кюре информировал прихожан о политике властей.

Он же, сельский кюре, информировал власти о политике прихожан — об их поведении.

Как видно, кюре вовсе не просто было удерживать свой авторитет в приходе. В делах церкви его, несомненно, несколько связывал церковный староста, в мирских — кто посмелее и побогаче из общинников. Однако из «интеллигенции» в деревне имелась только повивальная бабка. В больших деревнях был и учитель, но гораздо чаще эти функции выполнял все тот же кюре. Редкими, очень редкими гостями по чрезвычайным поводам бывали у крестьян врач, судья, священник из другого прихода.

Что подтачивало авторитет и влияние кюре, что усиливало — трудно распутать эти тихие глубокие течения и крохотные водовороты в как будто неподвижном и застойном темном омуте деревенских будней.

Преобладающим фактом была все же скрытая или открытая напряженность в отношениях между священником и деревней. Он навлекает на себя подозрения в корысти, он выглядит потатчиком всем кровопийцам. И неспроста.

Слов нет, велико было обычно доверие стада к своему пастырю. Но велики были и причины, рождавшие недоверие. Четыре было врага у крестьянского имущества, помимо войн и природных бедствий: церковная десятина, королевские налоги, сеньор и ростовщик. Все четверо забирали себе крестьянский труд, опираясь на разные непоколебимые права. И всем четверем врагам кюре был друг, хотя бы и по-разному, хотя бы и защищая мимолетно своих прихожан от кого-либо из них. В конце концов он был друг этим врагам. Но он-то был нужен господам только до той поры, пока внушал дружбу и доверие прихожанам, пока умел казаться стаду своим, уговаривать и успокаивать его.

У себя в Этрепины, среди населявших деревню 150 жителей, Мелье был поставлен как бы на пьедестале. Вокруг кюре обращалась вся жизнь общины, и духовная и светская. Во все он был замешан и как вознесенный над прочими мужиками авторитет и в то же время как первый среди равных. Вхож и зван он был в каждую из тридцати семи хижин по многу раз в год. Всех видел по воскресеньям и праздникам в этой церквушке, что была для них общим домом, где не только молились, а узнавали новости, законы, приказы, где при входе и выходе обсуждалось все на свете, начиная от положения на фронтах войны и кончая рубкой леса или починкой моста. Произносил он им проповеди и, говоря, одновременно читал на этих загрубевших, поднятых к нему лицах мужчин и женщин, старых и малых все, что они понимали или не понимали, что мысленно отвечали и чего не умели ответить. Он знал, как свои собственные, их скорбь и их

смех, он их хоронил, крестил, конфирмовал, женил, исповедовал. И зачем ему была исповедальня, к чему было таинственное окошечко со шторкой, когда исповедь совершалась всегда и повсюду, не только в церкви, но и в доме кюре, и в доме прихожанина, и в поле, и под солнцем, и под звездами. Мелье знал все затаенные, рождавшиеся и еще не родившиеся мысли прихожан. Поэтому поистине он создал свою книгу вместе с ними. Это была его вторая семинария, лучше сказать, его академия и исследовательская лаборатория.

Инстинктом Мелье схватил главное условие доверия прихожан и тем самым постижения их чувств и дум до самого дна, даже глубже, чем они сами постигали себя.

Отчуждение могло проистекать не из исполнения им исконных, вроде бы неотъемлемых от самой жизни церковных служб и обрядов. Он облачался в положенные одежды, служил мессу, давал причастие, и в глазах крестьянина это не делало его ни существом сверхъестественным, ни человеком враждебным или опасным. А вот что священнику надо было платить, отдавать ему из своих нищенских средств даже за каждую новую колыбель и каждый новый гроб, да еще работать на его дворе или возить его, — вот что обычно возвращало отчужденность, а там, глядишь, и ненависть.

Сколько горьких, справедливых, обиженных слов против жадных кюре находим мы перед началом революции 1789 года в наказах несчетного множества сельских приходов при выборах в Генеральные штаты, какое море народного отвращения к этим вымогателям в рясах, пиявкам, тартюфам! Народная якобинская революция и обрушила на них беспощадную

«дехристианизацию» в 1793 году, причем если сверху действовали большие идеологические и политические мотивы, то снизу — в первую очередь — ненависть к кровопийцам, прижившимся под самым боком, зарившимся на свою долю чуть ли не с каждой навозной кучи и уж, во всяком случае, с каждой курицы в горшке. Но были такие кюре, которые шли во главе крестьянских отрядов палить феодальные усадьбы. Такие, что оказались знаменосцами, трубачами и барабанщиками сельской революции.

Мелье всем своим сбереженным крестьянским инстинктом и пробуждавшимся разумением вещей стремился не утратить права доступа к мужицким сердцам. Он, видимо, изрядно обманул надежды своих родителей. Вероятно, с их точки зрения порядок, который он завел в Этрепиньи, был плохой порядок.

Незадолго до своей смерти Жан Мелье напоминал своим прихожанам: вы могли заметить, что я сочувствовал вашим

бедствиям, что я не дорожил мздой за свою духовную службу, часто я, отправляя требы, не спрашивал платы, хотя имел бы право требовать, и уж никогда не гнался за жирными воздаяниями, за заказными обеднями и приношениями. Позже один из первых биографов Жана Мелье, Сильвен Марешаль, писал: «В течение своей жизни он посвятил все годы бедным своим прихожанам, отдавал им все, что у него оставалось, а сам он умел довольствоваться малым». Право, такой кюре, который ежегодно отдавал беднякам часть своего дохода и отказывался от той добавочной мзды, какая по обычаю причиталась ему за исполнение треб, представлял собою диковину. Тем более что это имело явный привкус не благочестия, а вольнодумства.

Впрочем, все это делалось вполне естественно, просто, не преувеличенно. Крестьянскому здравому смыслу Мелье, как и его прихожан, экзальтация претила бы. В отношениях же этого мирка все было обыкновенно и потому прозрачно. Жил на деревне поп, служил как надо, жил прилично, как ему положено, но с крестьян не драл, бедность их уважал, вот они ему и верили.

И все-таки в этом сознательно избранном строе жизни был уже свой вызов и смысл. Сам Мелье тысячу раз на год понимал, что он мог бы жить, как большинство кюре соседних приходов. Свой отказ от материальных выгод своей профессии он мысленно не может обособить от их отказа сказать простому народу правду. «Я никогда не разделял вкуса большинства моих собратий по профессии, чревоугодников, с жадностью принимающих щедрую мзду за исполнение своих нелепых обязанностей. Еще большее отвращение я питал к священникам-циникам, которые желают только жить в свое удовольствие на получаемые жирные доходы, а в своем кругу насмехаются над таинствами и обрядами своей религии, да в довершение всего еще и издеваются над простотой душевной своих прихожан, дающих веру этим сказкам и благочестиво отдающих свои крохи, чтобы те могли жить припеваючи и в свое удовольствие... Это и чудовищная неблагодарность и позорное вероломство по отношению к своему благодетелю — народу, который трудится в поте лица своего для того, чтобы священники могли жить трудами его рук в полном изобилии».

И в предсмертном письме, адресованном кюре соседних приходов, Мелье снова если и не попрекает их из деликатности жирными доходами, то терзает им уши, уже от имени самого народа, тем, что за свою плату они должны учить народ не заблуждениям идолопоклонства, а познанию истины и добрым нравам. Это, и только это ваш долг; настаивает Мелье. «За это вам платят, с этой целью народ так обильно снабжает вас средствами

к жизни, чтобы вы могли жить в довольстве, в то время как сам народ дни и ночи тяжело трудится в поте лица своего для того, чтобы хоть как-нибудь поддержать свое жалкое существование. Но народ вовсе не намерен давать вам такое хорошее содержание для того, чтобы вы поддерживали его в каких-либо заблуждениях или пустых суевериях... В таком случае народ вправе смотреть на вас как на обманщиков, как на лицемеров или как на недостойных насмешников, злоупотребляющих невежеством и простодушием тех, кто вам делает столько добра, кто вам доверяет». Если так, — и голос Мелье поднимается до крика, — вы не достойны даже видеть свет дня, ни есть хлеб, который вы едите!

Это слова полуслеплого умирающего старика. К праву на них вела долгая-долгая, по внешности ничуть не приметная жизнь, перенасыщенная свыше всяких сил работой ума в этой лаборатории, с этим микроскопом, делающим до боли в глазах отчетливой неясную, смутную нужду народа. Мелье влекло к беднякам. Он льнул к ним. Душой он был с теми, против кого его послали служить. Медленный рассудок десятилетиями постигал и раскрывал, в чем тут дело.

Событий и больших перемен в жизни Мелье, в сущности, не было. Мелье писал в конце дней генеральному викарию в Реймсе, что вот провел он свою жизнь, как ему кажется, довольно тихо и спокойно, как в физическом отношении, так и в духовном, и почитает себя счастливым, так как не имел несчастья испытать в отличие от стольких других людей ни тяжелых бедствий, ни тяжелых болезней, за исключением разве причиняющего ему скорбь слабеющего зрения, которое ему пожалуй, дороже самой жизни.

«Я никогда не был тесно связан с миром», — писал Мелье. Он почти полностью был погружен в крохотный мирок Этрепиньи и Балэв. Мы мало знаем о его близких. Разве что единственный раз обронил он в «Завещании» о них полные теплого чувства слова: «Я предвижу, что после моей смерти мои родные и друзья, возможно, будут огорчены оскорбительными речами и надругательствами по моему адресу. Я охотно избавил бы их от этого огорчения. Но, как ни сильно во мне это желание, оно не остановит меня». При всей силе этого соображения, поясняет Мелье, верх над ним в его душе возьмут ревность к истине, справедливости и общему благу ненависть к религии и тирании. Как видно, Жан Мелье глубоко любил родных и друзей.

Несомненно, Мелье был прав, что его родным после его смерти придется пережить неприятности. Свидетельство тому — документ от 25 июля 1729 года об отказе от наследства

покойного кюре его законных наследников — Жанны и Антуанетты Мелье (сестер или племянниц), а также Гарлаша Роже, обозначенного как «торговец». Больше никого из родных к этому времени не оставалось.

Католические священники не имели права жениться. В XVII веке очень многие имели невенчанных жен. Они принуждены были выдавать своих жен за родственниц или служанок. Из записей наезжавших в Этрепиньи из епархии ревизий видно, что в 1696 году у Мелье проживала в качестве служанки кузина двадцати трех лет, — никакого внушения от церковного начальства не последовало. Напротив, в 1716 году целая грязная возня была поднята по поводу кузины-служанки восемнадцати лет. Мы не знаем ни имени его подруги, ни когда она пришла в его жизнь, ни когда ушла.

И все-таки из своей ракушки он сносился с внешним миром — как по своим служебным надобностям, так и из острого духовного голода, и к нему в раковину оттуда доносились и раскаты грома, и накаленный воздух, и свежий ветер.

По долгу службы кюре Мелье был связан с разными инстанциями. Ближайшим к Этрепиньи городским центром был город Мезьер на реке Мёзе; на противоположном берегу лежал городок Шарлевиль. Несомненно, Мелье ездил в Мезьер очень часто. Полагают, что мог бывать он и в ближнем крупном городе Седане. В административном и налоговом отношении деревня Этрепиньи относилась к бальяжу Сент-Менеульд. В административном центре бальяжа, городке Сент-Менеульд на реке Эне, Мелье, конечно, тоже бывал. По капризу административной судьбы деревенька Балэв попала в границы другого бальяжа — реймского. Реймсу был подчинен кюре Мелье и по главной линии — церковной. Реймс был центром епархии, с этим городом, где он учился, Мелье суждено было сохранить на всю жизнь наиболее важную, наиболее ответственную, вероятно, и духовно наиболее плодотворную внешнюю связь. Расстояние до Реймса было очень большое, дороги ужасные, но и кюре время от времени вызывали в епархию, и сам архиепископ реймский, как и генеральный викарий, периодически объезжая приходы, появлялись даже и в таких глухих медвежьих углах, как Этрепиньи.

Вероятно, важнее всего, что из поездок в Реймс кюре привозил в Этрепиньи в своей двуколке драгоценнейшую кладь — книги. По сноскам в «Завещании» видно, что в его широкий круг чтения попадали и текущие новинки, но ничего или почти ничего из изданного за рубежом, хотя бы и на французском языке. Впрочем, может быть, кто-нибудь дружески и пересылал ему

книги. Весьма существенно отметить, что как раз в конце XVII и начале XVIII века книготорговцы Реймса подвергались неоднократным преследованиям за продажу «дурных книг».

Важно и то, что благоразумный, осмотрительный, осторожный кюре долгие годы сохранял полное расположение архиепископа Реймского Шарля Мориса ле Телье. Этот высокий иерарх католической церковной громады до самой своей смерти в 1711 году не усматривал в кюре из Этрепины ни малейшего подозрительного пятнышка, никакого изъяна. Он неоднократно отмечал добросовестное исполнение этим кюре своих обязанностей. Был ли его преосвященство очень близорук? Или втайне либерален? Или кюре был так дальновиден, что долго ни в чем внешнем не позволял проявиться развертывавшейся в нем тугой пружине мысли? Тут очень уместна догадка, что благоволение архиепископа Жану Мелье обеспечивал покровительствовавший ему еще в семинарии и по окончании ее каноник Реймского собора Жак Каллу. Как помним, он был преемником другого Жана Мелье и перенес на Жана Мелье-младшего какие-то давние обязательства или симпатии. Он покровительствовал в епархии этому кюре удаленного прихода, отводил всякое облачко от его головы, пока не умер в 1714 году. С того времени дела Мелье круто пошли под гору.

Доброжелательные отзывы архиепископа Ле Телье послужили главным основанием в 1847 году воинствующему клерикалу из «Общества святого Виктора» Коллену де Планси поднести публике «Подлинный здравый смысл кюре Мелье», где биография Мелье сведена к тому, что до шестидесятидвухлетнего возраста он был хорошим благочестивым кюре и только в последние два года жизни старик рехнулся: впад в идиотию, он, видите ли, вообразил, что получит кресло академика. Негодяй не помышлял, что Мелье к тому времени, заканчивая труд, имел самое здравое право на кресло академика, и того было бы куда как мало, чтоб отметить его переворот в науке. Ему бы подобало кресло «первоприсутствующего» в Академии или Пантеоне французских просветителей.

Были ли у погруженного в свои думы кюре где-нибудь друзья, единомышленники, с которыми он мог делиться теснившимися в мозгу мнениями? Конечно, в скучной, елейной и жадной среде попов были и редкие избранники, с кем он обменивался и визитами и письмами. Из окрестных кюре, по крайней мере в последние годы жизни, Мелье навещал лишь двоих, которые были и его официальными исповедниками: кюре Вуори из деревни Варк и кюре Делавао из деревни Бальзикур — в трех километрах от Этрепины. Кажется, Делавао был его истинным другом. Известен

один его корреспондент из духовных лиц, сыгравший, может быть, большую роль в развитии его интеллекта: отец Бюффье. Как заманчиво было бы найти эти письма! Но в подавляющем большинстве, почти что поголовно, знакомые ему по Реймсу, по другим городам, по соседним приходам священники были безнадежно глухи. К ним, наверное, подошли бы злые слова, брошенные как-то Герценом о католическом духовенстве: «...искусственный клерикальный покой которым, особенно монахи, как сулемой, замеряют целые стороны сердца и умы... Католический священник всегда сбивается на вдову: он так же в трауре и в одиночестве, он так же верен чему-то, чего нет, и утоляет настоящие страсти раздражением фантазии».

У Жана Мелье были, настоящие страсти, хоть и скрытые в глубинах сознания. Но по крайней мере два раза буря все-таки ворвалась в его жизнь или скорее вырвалась из него.

Одной большой бурей в безбурной жизни юре Мелье было короткое, но опалившее ему лицо вмешательство во вспышку борьбы между крестьянами его приходов и их помещиком.

Деревня Этрепины, как и другие окрестные деревни, находилась на земле и под господством местного феодала. Перед тем как Мелье вступил в свою должность, этими землями владел большой вельможа — главный квартирмейстер королевской армии, командующий войсками в Шампани и королевский интендант на Мёзе. Позже сеньором этих мест стал барон Антуан де Клери де Тули, а от него имение и титул унаследовал его зять, тоже Антуан по имени. Этот барон имел дурную репутацию — выходца из незнатных богачей, неразборчивого в средствах обогащения, алчного, жестокого по отношению к слабым. В его руках феодальные права над крестьянами натянулись еще туже, стали еще болезненнее.

Имение сеньора было своего рода центром принадлежавшей ему территории. Как и над всеми подобными дворянскими имениями, тут, несомненно, возвышалась и издали была видна голубятня — знак привилегии, ибо только благородные, дворяне, имели право разводить голубей, а у ворот в таких имениях возвышалась символическая виселица — знак судебных прав сеньора. Сюда-то из всех деревень, расположенных на его земле, крестьяне в урочные сроки везли и несли из своих домов положенное количество добра и в первую очередь денег. Сюда же шли они и судиться, по крайней мере по всем делам, кроме крупных преступлений вроде убийства (за которые судил королевский суд), иначе говоря, по всем житейским хозяйственным тяжбам; гиблое дело было судиться с сеньором у судьи, который получал жалованье у самого сеньора и по

большей части кончал тем, что накладывал на жалобщика штраф в пользу сеньора.

Шампань была одной из немногих провинций Франции, где в XVIII веке время еще не смыло до конца остатки крепостного права. Некоторые повинности и обязанности крестьянин нес не за то, что пользовался участком земли, а просто за то, что был крестьянином. Эти повинности не поземельного, а личного характера были крепостническими веригами. Как гиря, на ногах крестьянина висела невозможность переехать куда-либо. Настоящим проклятием было «право мертвой руки» — право сеньора после смерти крестьянина отнять у родных земельный участок, если они его не выкупят.

Сеньор де Тули, как и другие сеньоры, обладал до несуразности пестрыми, нигде толком не записанными, а сложившимися на протяжении веков правами над своими крестьянами. Иные из них были обременительными, иные открыто оскорбительными, а все вместе составляли нестерпимое, мучительное, отвратительное ярмо. Они платили ему чинш за земельный участок. Еще — «часть поля», то есть часть урожая. Еще — часть стоимости всякой покупки и продажи. Еще — причудливо менявшиеся и сочетавшиеся от имения к имению то побор «с колеса», то «с угодий», «на голубятню», «за прогон скота», «за охрану», «за вино и сыр». Ко дню такого-то святого полагалось по два горшка вина с арпана земли, ко дню другого — пятнадцатую часть имеющихся у крестьянина птиц, овец, свиней; ко дню третьего — бочку овса и т. д. И это еще далеко не все. Лишь сеньор во всей округе имел право на большую печь для хлеба, на давилню для винограда, и хотя бы ты ничем этим и не пользовался, плати причитающийся со всех сбор; в некоторые периоды один он имел право продавать на рынке вино в розницу, когда другим было запрещено, или купить у привезших вино крестьян первый горшок по произвольной, выкрикнутой им самим цене. Всего не перечтешь и не опишешь. Господских голубей крестьяне не могли не только что стрелять, а даже сгонять со своих полей, когда те клевали зерно. Наезжали из столицы или издалека знатные гости, и господин затевал им в утеху такие многодневные охоты не только по лесам, а и по засеянным полям, что деревенские хозяйства подчас долго не могли оправиться.

Если разнообразные королевские налоги, не менее разорительные, были хоть оформлены какими-то законами и приказами, даже оглашавшимися в деревнях с церковной кафедры, то дикое, чудовищное нагромождение повинностей перед земельным сеньором не было, в сущности, записано и

закреплено, многое тут менялось по капризу и произволу самого помещика.

В начале революции 1789 года деревенские «наказы» тут и там обрушивались на феодальные права земельных сеньоров и требовали отмены разом всей этой путаной невыносимой обузы, не стараясь даже разобраться в ней. Например, один из наказов Шампани гласил: «Вельможи собирают принадлежащие народу плоды земли и при этом освобождены от налогов. На каком основании? Разве что на таком: самый лучший резон — у того, кто силен», — и поэтому наказ требует отмены сеньориальных прав — «чудовищного произведения тирании в века невежества».

Сеньор Антуан де Тули был, видимо, не более стеснен обычаями и совестью, чем другие. Около 1716 года, то ли испытывая затруднения, то ли сочтя момент удобным, он затеял еще какие-то новшества, да неожиданно напоролся на отпор в своих деревнях. Как развивался этот конфликт, как далеко зашел, мы не знаем. Но над мирком Этрепины сгустились тучи — набежала одна из тех несчетных гроз, которые неизменно время от времени поднимались в феодальном мире.

И вот гроза проверила и обнажила ту работу, которая происходила в тайниках сознания кюре из Этрепины. Пока стоял штиль, он мог таиться, но раз начинался шторм, молчать было бы нечестно. Непростительно перед своими прихожанами и перед своим пониманием истины. В короткий миг этой малой грозы Жан Мелье сделал то, что он сделал бы без колебаний, живи он и в иные, на самом деле бурные времена, для которых, может быть, он и был создан. Кюре Мелье выступил со своими прихожанами против их притеснителя. Мало того, он выступил как их идеолог.

Развитие конфликта, начавшегося, может быть, задолго до того, мы застаем на той стадии, когда Мелье наотрез отказался оказать сеньору особые почести во время богослужения. Очевидно, тот требовал этого как знака смирения строптивого кюре. Мелье ссылался на то формальное основание, что подобные почести не оказывались и предшественникам нынешнего сеньора и что поэтому никакие распоряжения реймских викариев для него не обязательны. Ревизия от 12 июня 1716 года записала: «Он в раздоре со своим сеньором и говорит, что не нуждается в указаниях, насмехаясь над тем, что было приказано архиепископскими викариями».

В один прекрасный день разъяренный самодур-помещик подъехал к окнам церкви в тот момент, когда кюре служил обедню или произносил проповедь, и стал оглушительно трубить в охотничий рог. Служба была сорвана. На эту обструкцию Мелье и ответил открытой контратакой в своих проповедях,

направленной не столько против данного дворянина, сколько против всего дворянства. Таких речей он произнес несколько. Это уже значило превратить церковь в революционную трибуну. Сеньор де Тули, человек, видимо, тупой, усматривал в этом скорее личные нападки и соответственно слал в Реймс доносы, касавшиеся личной жизни Мелье.

Наконец он накликал появление епархиальной ревизии. Она нагрянула, уже явно разъяренная и распаленная. Чего только не понаписано в акте, датированном 12 июня 1716 года: «Кюре Жан Мелье невежествен, самонадеян, очень упрям и непокладист; человек он состоятельный и пренебрегает церковью, так как его доходы больше, чем десятина. Он вмешивается в решение вопросов, в которых не разбирается, и упорствует в своем мнении. Он очень занят своими делами и бесконечно небрежен при внешности весьма благочестивой и янсенистской». Далее описывается дурное состояние церкви в Этрепиньи: на хорах, рядом со скамьей сеньора и в обиду ему, Мелье установил скамьи для простых прихожан (одна эта дерзость выдает его бунтовщический образ мыслей!); в церкви не оказалось ни подобающей кафедры, ни исповедальни.

Еще хуже, чем в Этрепиньи, состояние церкви в Балэв: колокольня вот-вот рухнет, колокола в опасности, стекла повыбиты. Словом, вот уже несколько лет, как кюре Мелье позволяет себе большие вольности, а исполнением своей службы пренебрегает. Тут же следовало предписание немедленно отослать жившую при нем кузину.

Это было для Ателье предметным уроком того, что церковь бросается на помощь дворянству, когда его атакуют. Разумеется, он отверг выводы и требования ревизии. Обо всем было тотчас доложено архиепископу де Майи, находившемуся в то время в Доншери. Туда и был немедленно вызван Жан Мелье.

1716 год был годом единственного практического опыта Жана Мелье в делах классовой борьбы. Ввязавшись в начавшийся конфликт, Мелье отстаивал дело прихожан, он со всей резкостью разоблачал и клеймил несправедливое и жестокое поведение сеньора, его жестокость к крестьянам.

В глазах сеньора де Тули, как рассуждал бы и любой сеньор, это было более тяжким преступлением, чем бунт мужиков. Ведь, в сущности, кюре и существовал для того, чтобы защищать его от них, чтобы умиротворять их и учить безропотной покорности. Это уже бунт того, кто должен был служить гарантией от бунта. А Жан Мелье не только поддался волнению и чувствам крестьян, он с церковной кафедры клеймил и разоблачал не господина де Тули, он бичевал уже все дворянство в целом, как если бы стоял в

центре народной войны — войны класса против класса.

Не знаем, каким из имевшихся способов было на этот раз умиротворено народное негодование. Кара, постигшая лично Мелье, была, пожалуй, милостива.

Кюре Жан Мелье и сеньор Антуан де Тули предстали 18 июня 1716 года перед лицом архиепископа, кардинала де Майи. Архиепископ потребовал у кюре объяснений. Кюре не оправдывался, он еще продолжал бой, он вынул привезенную с собой, заранее написанную речь, бичующую дворянство, и вслух прочитал ее.

Приговор архиепископа был поистине снисходителен, очевидно, он счел эго приступом горячки. Под предлогом кары за нарушение канонов личной жизни духовенства, а на деле чтобы сломить безумца, кюре Мелье был приговорен к уединению в течение месяца — и как раз в стенах той самой реймской духовной семинарии, где много лет назад он сидел над книгами. Прибыть в Реймс предписывалось поздней осенью.

Месяц отшельничества миновал. Январь 1717 года, снова рытвины и ухабы долгой дороги до тихой родной Этрепиньи. Теперь уже она не представлялась Мелье очень тихой, это было поле его малой, но большой битвы. Он искал ее продолжения. В первое воскресенье после возвращения домой он вошел в свою такую привычную, такую унылую церковку с готовым планом.

У историков мы находим два варианта, как это было. Согласно автору «Краткого жизнеописания Жана Мелье» и большинству позднейших биографов в этот день в церкви Этрепиньи на своей скамье восседал господин помещик — Антуан де Тули. Он и заполнившие церковь прихожане ждали, как наказанный кюре, наконец, воздаст сеньору специальные почести. По другой версии, Антуан де Тули как раз скончался к этому времени и вовсе не присутствовал на знаменательном богослужении — это было уже поминовение.

Обе версии сходятся на том, что Мелье прежде всего объяснил прихожанам вынужденность своей молитвы.

«Вот какова обычно судьба бедных сельских кюре, — твердо звучал голос с церковной кафедры. — Архиепископы, которые сами являются сеньорами, презирают их и не прислушиваются к ним, у них есть уши только для дворян. Вознесем же молитву за сеньора нашего селения...»

Но молитва звучала убийственно, особенно согласно второй версии: «Припомните, что он был человеком богатым, получившим свои титулы благодаря случайности, свои владения благодаря пронырливости... Великим чувствам, которые только и создают подлинных благородных, он всегда предпочитал

богатства, которые создают людей жадных и тщеславных. Помолимся же, чтобы бог простил его и ниспослал ему благодать искупить на том свете то дурное обращение, которое здесь испытывали от него бедные, и то корыстное поведение, которого он держался здесь с сиротами». Последняя фраза в передаче «Краткого жизнеописания», где вовсе нет слов о богатствах и свойствах Тули, выглядит так: «Попросим бога за Антуана де Тули, сеньора этого селения, — да обратит он его и да ниспошлет ему благодать впредь не обращаться дурно с бедными и не обирать сирот».

Арьергардный бой, последний выстрел. Последовал новый демарш семейства де Тули в Реймсе и новое строгое взыскание от архиепископа. Продолжать не имело смысла. Наступила тишина.

Вторая большая буря в жизни Мелье — это поездка в Париж. Несомненно, так должно было быть, Мелье не мог иначе. Минуя Париж, ему в самом деле не додумать бы свои великие думы. Он должен был вдохнуть воздух столицы, пожить в этом воздухе.

Путешествие это погружено во тьму. Нельзя даже назвать его точную дату. Автор «Краткого жизнеописания Жана Мелье» обронил об этом лишь несколько строк, вычеркнутых позже Вольтером. Однако они свидетельствуют, что автор был вполне в курсе дела. «Во время поездки в Париж, совершенной кюре Мелье около того времени, когда был впервые опубликован трактат аббата Утвилля о религии, отец Бюффье, друг кюре Мелье, как-то предложил ему прочесть эту книгу и высказать о ней свое мнение. Мелье согласился при условии, что они будут читать вместе. Несколько дней спустя, когда он обедал у иезуитов и беседа касалась этого трактата, один присутствовавший молодой человек из тех, кто принадлежит к неверующим скорее из бахвальства, чем из принципа, принялся за те искусные ходы, какими обычно полагают разумом взорвать основания веры. Мелье с величайшим хладнокровием заметил, что не требуется много ума для присоединения к какой-либо религии, но для ее защиты его нужно очень много». Мелье имел в виду книгу Утвилля, защищавшую христианство в эти годы растущего безверия.

Эпизод рассказан походя. Автор не придавал ему особого значения и упомянул, вероятно, просто потому, что знал его. Но тут есть два намека, чтобы ответить на два вопроса: когда ездил Мелье в Париж и к кому.

Аббат Клод-Франсуа Утвилль опубликовал в начале 1722 года свою книгу, являвшуюся сводкой всех когда-либо выдвигавшихся аргументов против христианства и всех ортодоксальных возражений на них. Ее полное заглавие:

«Христианская религия, доказанная фактами, и Историческое и критическое рассуждение о методе главнейших авторов, писавших в защиту и против христианства со времени его возникновения». Эта книга аббата Утвилля была столь необходима в то время верхам, что вознесла его до небес: ровно через год он уже был избран в Академию. Для Мелье, готовившегося дать энциклопедию всех доводов против христианства, книга Утвилля и споры вокруг нее стали жизненным рубежом. Ему в то время 58 лет. Во что бы то ни стало — в Париж: проверить и завершить свою систему!

В департаментском архиве Арденн нашелся еще один листок, вероятно связанный с историей поездки Мелье в Париж. Зачем-то вполне обеспеченный кюре из Этрепины 24 сентября 1722 года занял 100 ливров у крестьянина Понса Феллона из Террона. Но, может быть, этот заем был сделан под влиянием первого порыва. Ведь затем надо было с кем-то списаться в Париже, нащупать там какую-то почву. Может быть, на это потребовались месяцы или даже годы. Во всяком случае, документ о займе ста ливров заканчивается довольно удаленной датой: 9 мая 1726 года. Конечно, может быть, к этому сроку Мелье отдал долг, а вернулся из Парижа задолго до того. Так или иначе, теперь уже можно утверждать, что поездка имела место между 1722 и 1726 годами.

Биограф назвал проживавшего в Париже отца-иезуита Клода Бюффье «другом кюре Мелье». Когда бы могло завязаться между ними знакомство? Этот странный мыслитель, занимавший Вольтера и Дидро, одновременно и богослов и последователь материализма Локка, автор множества сочинений по истории, географии, грамматике, логике, этот характерный для XVII века эрудит и либертин, был примерно сверстником Мелье, но, кажется, не имел ни малейшего касательства к Шампани. Его главное философское сочинение (далекая переключка с которым есть в произведении Мелье), «Трактат о первичных истинах и об источнике наших суждений», вышло в Париже в 1724 году. Было ли оно плодом встреч с Мелье или предпосылкой? Легче представить себе, что переписка между ними завязалась именно по поводу этого сочинения. Но в таком случае задуманная поездка Мелье в Париж осуществилась не ранее 1724 или даже 1725 года.

По крайней мере мы знаем хоть одного человека, с которым Мелье в Париже и потрудился совместно и поспорил, который мог посвятить умного деревенщину в тайны интеллектуальных бурь Парижа. Эти бури в те годы, по крайней мере по внешности, разыгрывались вокруг церковных дел: чуть ли не все поголовно делились на партию «принимающих» папскую буллу «Unigenitus»,

которых называли также иезуитами и приверженцами папского засилья (ультрамонтанами), и партию «отвергающих», именовавшихся также янсенистами, чуть ли не республиканцами, но имевших немалое влияние и при дворе. Папская булла была только внешним поводом для прорыва всяческой оппозиции, для появления множества плакатов и воззваний политического характера, для политических и философских дискуссий.

Не знаем, кто, кроме Клода Бюффье, помогал кюре из Этрепиньи вывариться в парижском котле. Не знаем и сколько времени он вываривался. Несколько месяцев? Может быть, и не один год?

Но Париж нужен был для зрелости Мелье не только тем, что пополнил и завершил его образование. Париж нужен был и для того, чтобы окончательно уловить жар и пульс Франции.

Правда, в Париже этого жара непосредственно было даже чуть меньше, чем повсюду. Но Париж всасывал в себя воздух всей Франции, сгущал его, превращал в концентрат, в политику государства и церкви, отсюда шла остратка, обрушивалась кара на все то, что в стране бунтовало и сопротивлялось. Здесь был центр полицейской и поповской паутины. Здесь отдавалось любое ее сотрясение, когда муха билась в любом конце. Здесь, в центре, и должен был произойти когда-нибудь самый страшный, самый великий бунт. И все здесь — и улицы и сами стены уже ждали его. В 1664 году, в год рождения Жана Мелье, министр Людовика XIV великий Кольбер по поводу присланных ему на утверждение планов и чертежей нового фасада стоящего в центре Парижа Луврского дворца писал такие указания: «Первое замечание, которое должно быть сделано, — это что этот величественный дворец должен рассматриваться не только с точки зрения его великолепия и удобств, но и с точки зрения безопасности, будучи главным местопребыванием королей в самом большом и самом населенном городе в мире, подверженном различным революциям. Необходимо хорошо учесть, чтобы в опасное время не только короли могли быть в нем в безопасности, но также чтобы свойства их дворца могли служить для удержания народа в должном повиновении, — не так, однако, чтобы для этой цели не было необходимо возвести и особую крепость, просто учитывая, чтобы входы не могли быть легко взяты приступом и чтобы все сооружение давало остратку сознанию народа и оставляло у него впечатление силы».

Вот с этим и должен был вплотную познакомиться кюре из Шампани. Он должен был ощутить внутреннюю напряженность столицы, в которую перерабатывалась напряженность страны. Отсюда, из столицы, простиралась карающая длань повсюду.

Одному из интендантов, посылаемых в провинции, Кольбер писал: «На всякий случай вы можете быть уверены и даже огласить в провинции, что король всегда содержит в окрестностях Парижа армию в двадцать тысяч человек для направления ее в любые провинции, где возникло бы восстание, дабы с громом и блеском наказать его и дать всему народу урок должного повиновения его величеству».

Но это писалось очень задолго до приезда Жана Мелье, хотя и не потеряло силы в его дни. Если

Мелье находился в Париже летом 1725 года, он мог получить и более наглядный опыт. Из-за дороговизны хлеба на улицы Парижа высыпало огромное количество простонародья. Конные жандармы наступали на толпу с саблями наголо. Двое наиболее буйствовавших были повешены в Сент-Антуанском предместье, на главной улице. Толпы удалось рассеять, но еще некоторое время на стенах появлялись прокламации, поносившие министерство и грозившие поджечь весь Париж. Эти кратковременные события в столице тоже были всего лишь ослабленным отражением более сильных штормов, свирепствовавших подальше от Парижа: в то же самое время в Кане, Руане и Ренне произошли настоящие восстания.

Один раз за всю свою шестидесятипятилетнюю жизнь Жан Мелье был вне Шампани. И эта поездка в Париж по силе контраста и буре мыслей, может быть, весила столько же, сколько вся жизнь в Шампани. А если бы мы узнали, с кем он там виделся и что читал, то, может быть, сказали бы, что эта чаша весов даже перевешивает.

А затем снова Этрепиньи. Снова шум леса и плывущий в тихом воздухе звон колокола. Захватывающая ум, сердце, волю, дыхание работа над своим сочинением. И подстегивающая ее медленно приближающаяся слепота.

Глава 4. Великая смерть

Больше в жизни Жана Мелье не было ни происшествий, ни событий; сказали бы, что не было ничего. Снова хоронил и снова крестил — с теплотой к людям и с холодом к вере. Плохо скрывая брезгливость, служил свои мессы. В своем сочинении он так и писал, обращаясь к прихожанам, что решил, хоть и поздно, открыть им глаза на те нелепые заблуждения, «которые я сам имел неприятную обязанность поддерживать в вас. Говорю — неприятную, потому что эта обязанность поистине была мне тяжела. Поэтому я лишь с великим отвращением и довольно небрежно исполнял ее, как вы могли это заметить».

Мелье пишет, что никогда, никогда в своей жизни не был он уж так глуп, чтобы придавать значение таинствам и сумасбродствам религии, чтоб его влекло участвовать в них, чтоб хоть говорить о них с почтением. Он выказывал бы лишь свое презрение к ним, если б только можно было ему говорить сообразно своим убеждениям или взглядам. О, конечно, — Мелье снова повторяет это, — прихожане отлично могли заметить, он не предавался святошеству. Однако вместо того чтобы высказывать им свои мысли, он все-таки наставлял их в религии и хоть изредка с ними беседовал о ней. Это вытекало из того, что ведь он взял на себя обязанности священника данного прихода.

Просто, горько, но без раскаяния объясняет это Мелье крестьянам, уверенный, что они его внимательно слушают и понимают. Он взял на себя службу и выполнял ее как полагалось. Печальная необходимость — поступать и говорить совершенно вразрез с собственными взглядами. Поддерживать в слушателях глупейшие заблуждения, вздорные суеверия, которые в душе ненавидел, осуждал и проклинал. Это было трудно, Мелье рассказывает полную правду о том, до чего же это было трудно. Он делал это всегда с усилием над собой и с крайним отвращением. Он ненавидел все эти мессы, все эти причастия, которые вынужден был проделывать. Совершая их, он тысячу и тысячу раз проклинал их в душе, в особенности когда почему-либо нельзя было делать это механически и обстановка требовала торжественности.

Мелье казалось, признается он, что он особенно возмутительно злоупотреблял верой своих слушателей, своих посмертных читателей, что особенно заслуживал он их порицания и упрека, когда видел их идущими в церковь в приподнятом религиозном настроении, чтобы слушать с особым благоговением это вздорное богослужение, эти слова, выдаваемые за слова

самого бога. Доверчивое воодушевление прихожан настолько подстегивало его отвращение к проделываемым им в церкви пустым церемониям, что сотни и сотни раз, говорит он, был он на волосок от того, чтобы со скандалом высказать публично свое негодование и возмущение, не имея сил дольше таить и скрывать его. В письме к реймскому генеральному викарию Мелье снова прямолинейно писал, что всегда ненавидел и питал отвращение, без числа проклинал в сердце ложные и суетные обязанности их суетного и лживого церковного ведомства. И все-таки он упорно сдерживал себя. Жил, скрывая те чувства и мысли, которыми жил. Он решил, пока живет, хранить молчание. Он решил умереть так же спокойно, как жил.

Две жизни в одном теле. Какая-то истинно крестьянская скрытность, как у того нищего, но богатого мужичка, о котором рассказал Руссо. В замогильном письме к кюре соседних приходов Мелье сам воображает, каким сюрпризом для них окажется тайна их незаметного сотоварища: «Господа! Для вас, несомненно, будет неожиданностью и, быть может, больше, чем неожиданностью, — я хочу сказать, вы будете сильно изумлены, когда узнаете о мыслях и чувствах, которыми я жил и с которыми я даже буду жить до конца своих дней».

Что же это? Трусость, малодушие? Сам Мелье обезоруживающе просто объясняет своим прихожанам трезвость такого поведения, словно не сомневаясь в их согласии. «Дорогие друзья, — пишет он в первых же строках своего произведения, — мне нельзя было при жизни открыто высказать то, что я думал, это сопряжено было бы с очень опасными и губительными последствиями...»

Да, он «не осмелился» высказывать свои мысли и чувства. Ясные соображения заставляют молчать: ведь говорить было бы совершенно бесполезным подвигом, даже самый маленький опыт 1716 года подтверждал это. Едва он открыл бы рот, как ему уже заткнули бы его навсегда. Две страшные силы тотчас обрушились бы на дерзновенного и раздавили бы, стерли бы, вычеркнули бы: церковь и государство. В их глазах, говорит Мелье, никакая кара не была бы достаточно суровой для такой дерзости. Он подвергся бы преследованиям и гонениям — «гневу священников и жестокости тиранов».

Мы еще много услышим от Жана Мелье об этих двух чугунных плитах, тяжело давящих на пробивающиеся снизу силы жизни.

Крестьянский ум счел бессмыслицей так-таки запросто замахнуться на них. Слишком ясно было, что его почти никто не успеет услышать, тем более — его, как из камня высеченных,

тяжелых, массивных доводов.

Что же он должен был сделать с этой хеопсовой пирамидой доводов, мыслей, неодолимо сложившейся в его голове? Что думал Жан Мелье о самом себе, как объяснял, почему родились в нем мысли и мнения, прямо противоположные тем, которые он что ни день всю жизнь проповедовал людям, и как же надлежало с ними поступить? Эти вопросы он тоже должен был решить со всей мыслимой ясностью и очевидностью.

Прежде всего понадобилось под корень отсечь такой ход мысли, что он является человеком исключительным, из ряда вон выходящим, мудрым, талантливым, гениальным, — в это не поверили бы ни он сам, ни другие. Это противоречило его мировоззрению. Такое допущение подорвало бы всю его остальную логику.

Созрело и стало незыблемым совсем другое решение загадки. Суть его состоит в том, что новые истины, пробившиеся в его, кюре из Этрепиньи, непросвещенной голове, вовсе не такие уж новые и известны не в меньшей степени, чем ему, всем сколько-нибудь образованным людям, да и необразованному, темному, простому народу без малого известны, если бы только образованные нарочно не сбивали его с толку.

Значит ли это, что Мелье не имел честолубия? Нет, он был человек, как все, а никогда ничто великое не совершено без стремления к величию. Говоря о себе, Мелье привлекает и библейский текст об Иове — «сокрушать беззаконному челюсти и из зубов его исторгать похищенное», и относит к себе слова мудрого Ментора по Фенелону: только великие сердца стремятся к славе человеколюбца. Но логика его мыслей требовала признать, что истиной в общем владеют все или почти все, но только скрывают это, как и он сам. Его философия требовала убежденности, что сам он не умнее, не образованнее, не талантливее других. Ему поистине логически необходим тезис, что его философское сочинение очень несовершенно, что оно нескладно по своей форме, составлено наспех и написано второпях. «Дорогие друзья, — пишет он, — при всем моем слабом и ограниченном даровании я попытаюсь с прямою открытостью вам здесь всю правду».

Сложность вопроса — в том, как объявить, обнародовать правду, которая скрыта, а вовсе не в том, как ее исследовать и познать, ибо это, видите, мог сделать и такой неодаренный, неумелый человек, при этом потратив, наверное, много больше лет, чем нужно другим. Такие представления Жана Мелье о природе научной истины, о ее принципиальной доступности всякому простому, неизвращенному, естественному

человеческому уму возвращены философией науки Рене Декарта, которой он увлекался еще будучи семинаристом в Реймсе. Но он придал этой картезианской (то есть декартовой) идее совершенно неожиданный смысл. Истины, о которых он пишет, настолько просты и очевидны, что вопрос науки как бы становится вопросом одной лишь честности: их естественно чувствует и сознает каждый, но бесчестный человек их утаивает, скрывает.

В самой основе лежат естественные, очевидные чувства людей — на самом себе Мелье убедился, что приятны, привлекательны, желательны доброта, справедливость, истина, спокойствие; ненавистны и противны смуты и раздоры, тирания, несправедливость, ложь, обман. Достаточно увидеть что-либо из этого, чтобы испытать радость или негодование. Все это очевидно и не требует ни доказательств, ни заповедей и санкций религии. Столь же естественны и очевидны простые правила разумного мышления. Их ни из чего не приходится выводить, они присущи всем сколько-нибудь образованным людям.

Однако что же мы видим? Кругом царят притеснение, несправедливость, искажение очевидной истины, но умные люди почему-то стушевываются, они не смеют открыто высказать то, что действительно думают, и так и умирают, не сказав правды, не изложив своих мыслей. Благодаря этому подлому и трусливому молчанию, гремит негодующий и удивленный голос Мелье, все заблуждения, все суеверия и все злоупотребления сохраняются и размножаются в мире.

Люди видят их и знают средства от них; такова настойчивая, упорная мысль Мелье. Он повторяет ее множество раз. Без нее он не понимал бы сам себя, своего места в окружающем мире. Кругом такие же, как он, и он таков же, как они.

Не верьте ничему, что говорят вам ваши церковники, — взывает он к прихожанам, — они сами — по крайней мере громадное большинство их — не верят всему этому, неужели вы хотите верить больше, чем они сами? А обращаясь к священникам, Мелье выражает уверенность, что если они последуют за естественным светом своего разума, то увидят правду по меньшей мере так же хорошо, как и он, вернее, они уже ее отлично видят. Вы должны сказать народу правду, закликает он их.

Итак, с одной стороны, естественное чувство и естественный разум дают знание истины множеству людей. Они должны бы ее высказать. Сам Мелье, по его словам, во всем, что высказал или написал в своей книге, следовал исключительно естественному разуму, попытался только откровенно и чистосердечно огласить истину. «Всякий порядочный и честный человек должен вменить

себе в обязанность высказать истину, когда он ее знает». «Сила самой истины заставляет меня высказывать ее». С другой стороны, он сам не высказывал ее целую долгую жизнь, так и не высказал, пока жил, и считал, что иначе нельзя. Вот точно так же и все другие, все самые умные и образованные люди предпочитают жить в спокойствии, чем добровольно идти на гибель, и, не рискуя погибнуть, вынуждены хранить молчание о том, что отлично видят.

Но тут Мелье обнаружил новое затруднение. Как раз если бы умные и образованные люди захотели говорить истину, но не поодиночке, конечно, а как естественное выполнение всеми ими своего долга перед ней, очень скоро никому уже не грозила бы за это ни гибель, ни опасность. Ведь, по убеждению Мелье, очевидная истина и естественный разум имеют неодолимую силу, поэтому достаточно было бы их широко огласить, чтобы уже не бояться никакого противника. А противиться истине можно лишь одним путем: скрывая ее, подменяя заблуждением.

Этот ход мыслей отвечает глубочайшей сути взглядов на мир, на природу мира, сложившихся у Мелье. Есть нечто куда более подлинное, чем преходящие людские мнения о вещах и о самих себе. Есть сами вещи. Есть сама жизнь. Поэтому нет подчиняющейся людям истины, она независима от них. Закончив свою книгу, Мелье со спокойной уверенностью писал, что, какова бы ни оказалась судьба этого сочинения, истина-то существует независимо от него. Истина, говорил он, будет существовать всегда сама по себе, такая, какова она есть, она совершенно не зависит ни от воли людей, ни от того, что они о ней думают. Это люди должны сообразоваться с истиной, ибо никак невозможно, чтобы она сообразовалась с их фантазиями и желаниями. Если же истина, прибавляет Мелье, неизвестна, или порицаема, или подавляема, даже преследуема, осуждена, угнетена, как это часто бывает среди людей, она от этого не становится меньше истиной.

Та истина, что народ живет в ужасающем бедствии и страдании, что кругом царят слезы и несчастье, угнетение и преследования, злоба и беззаконие, та истина, что все это вызывает естественное чувство отвращения и негодования, — эта истина вовсе не требует каких-либо специальных усилий познания. Она познана всяким имеющим открытые глаза. Дело совсем не в том: никто не говорит истину. Вот загадка.

В манере мемуаров или дневника рассказывает Мелье свое потрясение и изумление — общие, пожалуй, с душевной катастрофой каждого честного мальчика — при встрече с ложью. Он был поражен не столько видом всех бед, царящих вокруг, сколько тем, что, хотя многие люди славились умом, ученостью и

благочестием, ни один из них не решался открыто сказать свое слово против этих возмутительных порядков. Ни одного влиятельного человека не увидел юный Мелье, который порицал, осуждал бы их, в то время как народ-то кругом не переставая жаловался и стонал о своих несчастьях. К великому своему удивлению, юноша стал понимать, что молчание стольких умных людей, поставленных достаточно высоко, людей, которые, как казалось ему, должны были выступить против потока зла или хотя бы попытаться смягчить его, что их молчание есть знак согласия. Сначала не мог он понять ни смысла, ни причины этого. Но в дальнейшем, понабравшись опыта, ближе разглядев устройство людской жизни и глубже проникнув в тайны людей, стоящих выше народа, кюре Мелье разгадал их. «Я понял причину, почему люди, считающиеся умными и образованными, не возражают против этих возмутительных порядков, хотя им достаточно знакомо бедственное положение народа».

Все дело в том, что существующий порядок вещей позволяет господам и правителям развлекаться и жить в свое удовольствие, тогда как нищий народ, находящийся под их властью и в сети религиозного кошмара, тяжело и горько вздыхает и все же смиренно несет иго сильных мира сего; он терпеливо переносит свои невзгоды и утешает себя тщетными молитвами, он денно и ночно работает не покладая рук, чтобы кровью и потом добыть себе нищенское пропитание, а виновникам всех своих несчастий обеспечить привольное и радостное житье.

Но ведь угнетенное большинство возмутилось бы и легко скинуло бы своих господ, если бы те не опирались на две силищи, два чудовищных сооружения человеческих рук (мы сейчас сказали бы — на две надстройки) — на государство и церковь, на силу власти и силу религии, на «тиранию» и «суеверие». С помощью этих двух аппаратов удается, во-первых, расколоть народ на разрозненные и даже враждующие части, во-вторых, — заставить легковерную и невежественную массу уверовать во что надо и поэтому принять с благоговением и покорностью все навязанные ей законы. У Мелье бесконечно много раз то мелькает мимоходом, то снова тщательно пояснено и

рассмотрено это деление на две части сил, охраняющих все зло в жизни его прихожан, для которых он пишет. Это излюбленное открытие. Их две, не меньше, чем две, и не больше, чем две. Снова и снова «одни и другие»; одни тиранически господствуют над нашим телом и имуществом, другие — над нашей совестью; государи и прочие сильные мира сего являются самыми крупными ворами и убийцами из всех существующих в мире, а служители религии — самыми наглыми обманщиками

народа.

Мелье ничуть не смешивает эти два инструмента господства. Он замечает, что религия и политика на первый взгляд вроде бы и не могут ужиться друг с другом, должны бы составлять контраст и противоречие друг другу по всем своим принципам. Но между ними царит нераздельная, беспринципная дружба. «Они уживаются, как два вора-карманника, которые прикрывают и вызволяют друг друга».

Это вторая сторона того же излюбленного открытия Мелье. Религия, говорит он, поддерживает даже самое дурное правительство, а правительство, в свою очередь, поддерживает даже самую нелепую религию. Священники призывают свою паству под страхом проклятия и вечных мук повиноваться начальству, князьям и государям, как власти, поставленной от бога. В свою очередь, государи заботятся о престиже священников, наделяют их жирными бенефициями и богатыми доходами, поддерживают их в пустых и шарлатанских функциях богослужения и приказывают народу считать святым и священным все, что они делают и чему учат.

Все это было на самом деле не бог весть как хитро заметить в окружавшей Мелье жизни. Он выхватывает свои выводы из самой ее гущи, из самой паутины. Им руководит страсть разоблачения. Внимание его сосредоточено не на «базисе» — не на феодале, местном господине, вымогающем сотней приемов поборы с крестьян. Тут все как на ладони. Он разоблачает покровителей и соучастников, тех, кто удерживает народ в покорности и одновременно рвет с него в свою пользу еще и еще куски его имущества. Понятно, что и из двух надстроек Мелье больше внимания уделил религии. Ее разоблачить труднее, она — передний край, она давит на мозги; стоит открыть глаза на нее, и дальше все само обнажится.

Открытие, так глубоко полюбившееся Мелье, и помогло ему проникнуть в тайну молчания умных и образованных людей века. Они все так или иначе припали к этим источникам, питают из них свое богатство и свое честолубие. Они все куплены, ибо вознаграждены достатком, спокойствием и почетом за молчание, за принаравливание свое к законам и вере, хотя и сознают их ложность. И бесчисленные чиновники и бесчисленные духовные лица обслуживают тем, кто им платит или кто допускает их к источникам доходов. «Для правителей и их сообщников, а также для священников, которые управляют совестью людей и обеспечены тепленькими местечками, это — золотое дно, рог изобилия, доставляющий им все блага как по мановению волшебного жезла».

Кто станет рубить сук, на котором сидит! Вот они и молчат о том, что знают, и говорят то, ложность чего знают. Как ни трудно им порой превозмочь себя, им все же гораздо выгоднее и удобнее приспособливаться хотя бы для видимости к политике и религии.

Таковы мысли, теснившиеся и зревшие под круглой шапочкой кюре из Этрепиньи и Балэв. Он вместе с тем разбирался в самом себе, вел предельно честную беседу с собой о себе и о том, какой принять план своих действий — единственный и уже непоправимый.

Ведь те, кого он разгадал, такие же, как он, а он такой же, как они. Пусть он уменьшил доходы со своих прихожан до самой малой величины, жил совсем скромно. Все равно он зарабатывал тем, что внушал им нелепости религии, притом отлично понимая, что это нелепости. Как и другие, он молчал об опасной правде и говорил выгодную ложь. Он нарисовал, выходит, их портрет с самого себя, он обобщил свой образ и свою трагедию на всю Францию, на всех умных и образованных французов. Он сделал это по праву, зная жизнь, хотя историку непосильно узнать, в какой мере действительно в умы проникало тогда это двойственное сознание, это тайное неверие в явную веру, потаенное зрение при показной слепоте. Во всяком случае, ржавчина действительно проникла глубоко. Сами современники удивленно называли годы Регентства годами «безверия».

Итак, кюре Мелье должен был найти отвечающее «естественному разуму» решение неразрешимой задачи. Оно должно было быть приложимым не только к нему лично, но иметь как бы всеобщий характер. Она должна была найтись, эта существующая истина, — единственная, простая, верная для всех. Несомненно, долгие годы своей жизни этот сын и пастырь крестьян раздумывал над безвыходным положением: истину необходимо высказать, но высказать ее невозможно.

Наконец он нашел.

Нам сейчас даже трудно себе представить, какую силу в старину придавали последней воле человека перед смертью. Бог весть в каких глубинах коренилось это почтение к предсмертным словам покойника. Первобытный человек был уверен, что спорить с живым так-сяк можно, но продолжать с ним спор, когда он стал духом, — значит навлечь на себя уже совершенно неотразимые туманы с того света. Последнее слово оставалось за покойником. Этому слову не перечат, его беспрекословно выполняют. Оно непререкаемо и священно. Если таков был седой обычай, то новую силу в него влило развитие права частной собственности. Что это была бы за собственность, если бы человек не мог дарить и завещать ее. В древнюю форму влился новый сок: благоговение

перед завещанием стало могучей скрепой имущественных отношений между людьми, стало необходимейшим и неприкосновеннейшим предрассудком для образования богатств и сокровищ. Теперь уже святость последней воли умершего не только поддерживал обычай, но разжигали и охраняли и закон и вера.

На этот окруженный детальнейшим юридическим и церковным церемониалом, незыблемый и охраняемый предрассудок и упал взгляд Мелье. Завещание! Тем более, если оформить его по всем нотариальным правилам, в судебной регистратуре бальяжа, — оно же не может остаться невыполненным! С другой стороны, завещание священника вдвойне священно. Круговая порука клира заставит этих тартюфов, этих святош елейно исполнить даже сумасбродство покойного собрата. Ибо ведь никогда раньше не приходило в голову никому из духовных лиц, как известно, не имевших семьи, использовать право завещания для опасных и подрывных целей. Ведь после смерти какой был бы им расчет тормозить земную юдоль?

Хитрость была всесторонне и практично обдумана Жаном Мелье. Если он изложит истину в письменной форме, а в завещании укажет, как свою последнюю волю, чтобы написанное было прочитано вслух в церкви его прихожанам, это прежде всего не содержит в себе той опасности для кого бы то ни было, как если бы он сам, живой, произнес эти слова.

Вот первые строки тою, что согласно замыслу должны были прослушать прихожане. Откровенные, скорбные строки. Поскольку, говорил Мелье, он не мог при жизни открыто высказать им то, что думал о порядках и устройстве правления людьми, об их религии и нравах, он решил сказать им это после своей смерти. «Я желал бы сказать вам это во всеуслышание перед смертью, когда почувствую, что дни мои подходят к концу, но еще буду свободно владеть способностью речи и суждения. Однако я не уверен в том, что в те последние дни или минуты в моем распоряжении будет достаточно времени и что я буду сохранять самообладание, необходимое для того, чтобы открыть вам свои мысли. Это побудило меня изложить их вам теперь в письменном виде, приведя вам ясные и убедительные доказательства всего того, что я намерен сказать».

Итак, первое преимущество замысла с завещанием — это отсутствие опасности. Опасность, объясняет Мелье, практически отсутствовала бы и в случае, если бы он открылся непосредственно перед самой смертью — никто не успел бы покарать его на смертном одре. Но это значило подвергать риску

все дело жизни: случайности болезни могли нарушить план; да и где было бы умирающему взять сил и времени для изложения всей этой огромной, хоть и простой, философской системы, всего здания научных аргументов и логических доводов.

Второе преимущество задуманного хода Мелье состояло в том, что дело никак не могло бы ограничиться чтением его рукописи перед прихожанами Этрепины и Балэв: этот акт, своего рода скандал, должен был с полной необходимостью повлечь расследование, а именно — чтение его замогильного трактата как священниками соседних приходов, так и руководителями реймской епархии. Этому расчету соответствуют оставленные Мелье предсмертные письма и тем и другим. Мелье даже предупреждает этот вероятный ход событий — сам направляет генеральному викарию в Реймсе экземпляр сочинения, адресованного, оказывается, не только народу, но и «особенно нашим собратьям». Он просит довести его до сведения духовенства «для того, чтобы вы были первыми информированы о нем и чтобы вы могли, если сочтете нужным, совместно обсудить его и иметь о нем такое суждение, какое вам будет угодно». В предсмертном письме, адресованном кюре соседних приходов, Мелье настаивает на том, чтобы они серьезно, бесстрастно, без предубеждения рассмотрели его доводы и доказательства и тогда либо согласились бы с ним, либо попытались бы опровергнуть. Расчет ясен: за исполнением его завещания последует чтение рукописи духовенством, посыплются опровержения, и среди собратьев по сословию, куда как любопытных до вольнодумства, обязательно найдутся и такие, кто либо не устоит перед его очевидной правдой, либо перескажет его слова в другие уши, а то и перепишет их для других глаз. Затея с завещанием означала, следовательно, шанс, почти уверенность, что мысль его и голос его не канут, как камень.

На шахматной доске был один-единственный ход, не ведущий к проигрышу. Жан Мелье нашел и сделал этот ход. Но у затеи с завещанием была не только жизненная, практическая сторона. Сначала надо взглянуть и на другие достоинства плана.

И первые аккорды творения Мелье, только что приведенные, и заключительные аккорды финала не могли не потрясти сознания слушателей и читателей. Именно тем, что автор говорит с ними перед самой смертью, говорит о том, что думал и скрывал всю жизнь, говорит из-за гроба. Смерть служит ошеломляющим доказательством его искренности. Он не получит никакой, ни малейшей пользы от своего признания и вполне мог бы уйти без него. Одна только одержимость истиной может объяснить его поступок.

Недаром именно в этом Вольтер позже усматривал главный источник покоряющего воздействия книги Мелье на читателя. Он писал Даламберу в 1762 году: «Кажется, „Завещание“ Жана Мелье производит очень сильное действие. Оно убеждает всех, кто прочитал его. Этот человек рассуждает и доказывает, при этом он говорит перед лицом смерти, в момент, когда и лжецы говорят правду, — и это самый сильный из всех аргументов. Жан Мелье должен убедить весь мир». В письме к Дамилавиллю Вольтер писал чуть позже: «Я думаю, ничто никогда не произведет более сильного впечатления, чем книга Мелье. Подумайте: какое огромное значение имеют слова умирающего, к тому же священника и честного человека». Через два года Вольтер возвращается к тому же: «...раскаяние добряка священника перед лицом смерти должно производить сильное впечатление. Этот Мелье должен был бы иметься у всех».

Кстати, читатели Вольтера не могли оценить и десятой доли убедительности предсмертной исповеди «добряка священника», ибо ведь Вольтер приписал, будто бы тот не у людей, а у бога просил прощения за то, что проповедовал христианство. У высшего, настоящего бога. Но в таком фальшивом свете вовсе уж не бескорыстным выглядит «добряк священник»: опасался, видно, наказания от бога на том свете, раз просил у бога прощения.

Логическая цельность и глубина решения, принятого Мелье, открывается, только если учитывать, какой это был крайний, воинствующий материалист — материалист не только в философской теории, но и в своих конкретных представлениях, реальных образах. Это, как позже у Ламеттри, материализм, доводимый до самого повседневного, самого обыденного. Воображение этих материалистов требовало реального образа небытия после смерти. Жан Мелье не мог мечтать о посмертной славе, — ему представлялось противоречивым как-либо вмешивать свое бытие в перспективу своего небытия. Он пишет не ради того, что будет, а потому что сейчас, когда он живет, природа истины и святая ненависть к обманщикам требуют, чтобы он их высказал. Он много раз заявляет, что ему абсолютно все равно, что скажут о нем хорошего или плохого после смерти. Материализм как бы помогает ему скрыться от противников, обмануть их. В этом-то и соль затеи сказать правду и скрыться в смерть. Ведь вот как звучит не последний аккорд, нет, последняя его нота, долгая, затихающая: «После всего сказанного пусть думают обо мне, пусть судят, говорят обо мне и делают все что угодно; я нисколько об этом не беспокоюсь. Пусть люди приспособляются и управляют собой, как им угодно; пусть они будут мудры или безумствуют, пусть будут добрыми или злыми,

пусть после моей смерти говорят обо мне или делают со мной все что хотят, — мне до этого совсем нет дела. Я уже почти не принимаю участия в том, что происходит в мире. А мертвых, к которым я собираюсь, не тревожит уже ничто, их уже ничто не заботит. Этим *ничто*я тут и кончу. Я сам уже и сейчас не многим больше, чем ничто, а вскоре я и в полном смысле буду ничто...»

Это не вздох умирающего. Это необходимое, чтобы его верно поняли, философское доказательство своей полной личной незаинтересованности в чем бы то ни было. Он — ничто, его нет, когда он говорит это. И письмо к соседним кюре он заключает тем же, но в форме злой насмешки. Он отказывается принять от них даже пожелание «почить в мире», — пусть они сами пребудут в мире, пока живы, он же, как и все мертвые, не будет знать, ни что такое покой, ни что такое мир, ни что добро, ни что зло. Для того чтобы это знать, надо жить. А он, Мелье, будучи ныне мертвым, даже не может им вежливо сказать «ваш покорнейший и преданный слуга».

Наконец вот еще кукиш, который он показывает из могилы своим будущим гонителям: «Пусть священники, проповедники и богословы, а также все покровители этого обмана и шарлатанства выходят из себя и возмущаются после моей смерти сколько *ism* угодно, пусть называют меня нечестивцем, вероотступником, богохульником и атеистом, пусть сколько угодно поносят и проклинают меня, — это меня нисколько не трогает и не смущает. Пусть они сделают с моим телом, что хотят: пусть изрубят его на части, изжарят или сварят и съедят под каким угодно соусом — это мне совершенно безразлично. Я буду уже всецело вне пределов их досягаемости; ничто уже не будет в состоянии устроить меня».

Все это не надо понимать слишком просто: будто Мелье вообще безразлично, что будет после него. Нет, речь идет о полном отсутствии какой-либо личной заинтересованности, но не заинтересованности в судьбе своих идей, как и в судьбе тех, для кого он так старался додумать и изложить истину.

Замысел посмертного выступления и состоит прежде всего в том, что автора не будет, а сочинение его волей-неволей должны будут обсуждать, хотя бы опровергать, и тем самым высказанное им будет жить. Те, кто не сумеет опровергнуть его столь же строгими и логичными доводами, как и его собственные, обязаны будут — да, да, да, будут именно обязаны — отстаивать истину и действовать впредь сообразно истине, открывать глаза народу, бороться за установление справедливых, разумных и естественных порядков между людьми. По меньшей мере Мелье допускает, что у него будет не меньше сторонников среди

разумных и честных людей, чем хулителей среди прочих, хотя бы даже многие его сторонники будут вынуждены вслух осуждать его. Те, кому он поможет открыть глаза, уже не могут их закрыть, даже если б им пришлось держать свои глаза опущенными долу. Его сочинение не могут окружить забвением и молчанием, с ним по крайней мере должны будут воевать, а значит и вдумываться, — таков первый выигрыш.

Второе, может быть более важное. Узнав о придуманном им рецепте, как можно выполнить свой долг перед истиной, ничем не рискуя при жизни, ведь и другие из умных и образованных, знающих, но скрывающих истину — а это почти все они! — станут поступать, как и он. Мелье с чистой, отвлеченной наивностью уверяет их: если они, как и он, не решаются выступить при жизни, пусть в таком случае они сделают это хоть один-единственный раз — в конце дней своих. Если бы все те, кто, как он и лучше его, знают человеческие отношения, знают обман и правду, высказали по крайней мере под конец своей жизни, по крайней мере перед смертью все, что они на этот счет думают, вскоре оказалось бы, что мир изменил бы свой вид и облик. Подражание ему, воспроизведение его акта кажется Мелье неминуемым, ибо это есть решение основного, казалось неразрешимого, противоречия всех мыслящих людей века. Это был еще неизмеримо больший выигрыш.

Третьим, по убеждению Мелье, было то, что другие это сделают гораздо лучше, чем он. Он искренне и скромно повторяет это. Он настаивает на этом перед реймским генеральным викарием: «Признаюсь, что вовсе не я должен бы, мсье, говорить вам об этих вещах, это должно было исходить от лица, более даровитого, да и более авторитетного, имеющего большее значение, чем я; этого я очень бы желал, ибо это произвело бы на умы людей большее действие». Но пока другие молчат, Мелье просит выслушать хотя бы его несовершенные речи, ссылаясь на слова пророка: истина вышла из земли. «Ибо она действительно выйдет из земли, поскольку она выходит из моих уст; я на самом деле есть не что иное, как земля».

Итак, выступают обязательно и другие, и лучшие, чем он, раз он стронет лавину с места. Надо лишь суметь ее стронуть. Да и решат исход не образованные собратья по уму и по перу, они будут лишь союзниками народа, а народ.

Но почему же все-таки именно он, кюре из Этрепиньи, он, маленький, неприметный человек, проводивший тихую, спокойную жизнь, почему он, один-единственный и одинокий, должен толкнуть лавину, которая в своем могучем падении, давно покинув его, преобразит человеческий мир? У Жана Мелье есть

только один далекий и от философии и от самовосхваления ответ: я должен был это сказать, поскольку я не вижу никого, кто бы это сказал.

Его не интересуют ни похвалы, ни упреки. Он знает, что изложил истину не лучше, а хуже, чем могли бы другие. Почему же он? Просто потому, что он не видит других. Умные и образованные люди молчат. Что же кивать на них, когда долг перед истиной повелевает ему сказать хотя бы так, как он придумал, — после смерти. Мелье и решил сказать за них. Просто так вышло, ему не решить этого вопроса. Никогда не приходило в голову Жану Мелье даже и поставить другой близкий вопрос — почему полагает он, что именно сейчас «настало время» положить конец царству тирании и суеверий, почему именно в его дни можно сказать, что «пора», наконец, открыть народу глаза на притеснения и обман, которые «слишком долго» удерживались, «достаточно времени» тяготили народ? Почему теперь «пора» и «пришел час»? Оправдать этот грубый логический провал можно только одним: не только Жану Мелье, а и никому в XVIII веке не могло еще прийти в голову так поставить вопрос.

Мелье взял на себя своеобразный подвиг: раз никто — то я; раз не в жизни — то через смерть. В этом подвиге — ни Голгофы, ни страдания, ни позы мученика.

Ответ на вопрос, почему именно ему выпал на долю этот подвиг без всякого геройства, следовало бы искать в том, что Жан Мелье, крестьянин и сельский священник, был если не единственным, то редким, кто находился зараз в обоих кругах: из тех, кто знает правду, из образованных, он тот, кто хочет ее сказать; из тех, кто хочет правды, из угнетенных и обманутых, он тот, кто ее познал.

На вопрос, почему именно тогда пришло время для богатырского дела, мы уже знаем отчасти ответ: Жана Мелье родило огненное дыхание мятущегося, восстающего, потерявшего рабскую покорность народа.

Понимал ли Мелье, что он сам обязан своими идеями народным массам? Иногда может показаться, что он только хочет поучать и просвещать народ. Но нет, знает он и то, что высказанные им истины уже почти поняты массами, нужен лишь последний толчок. «Было бы легко рассеять заблуждения народных масс. Большинство людей сами уже частично видят ложь и злоупотребления, в которых их держат, и в этом смысле им нужна лишь некоторая помощь и несколько больше просвещения, чтобы увидеть ясно...» Вырвавшиеся слова «большинство людей сами уже частично видят» приоткрывают перед нами завесу над бессчетным множеством откровенных

бесед кюре из Этрепиньи и Балэв со своими прихожанами. «Большинство людей!» Эти слова свидетельствуют о громадном опыте общения с людьми и обсуждения их сокровенных мыслей. Вот откуда Мелье узнал, что в самом деле они «сами уже частично видят», что действительно им «нужна лишь некоторая помощь». Не только истина неодолимо побуждала Мелье написать свое сочинение. «Записи мыслей и мнений Ж.М., священника, кюре из Этрепиньи и Балэв, о некоторых ошибках и заблуждениях в поведении людей и в управлении ими» — это поистине записи настроений и помыслов огромной, ропщущей и, как виделось ему, еще недостаточно прозревшей, недостаточно просветившейся, еще глупой массы. Получив всю свою силу от народа, Мелье хотел бы всю ее вернуть скованному титану, чтобы помочь ему подняться. «Я хотел бы иметь силу сделать мой голос слышным от одного края королевства до другого и даже от одного конца земли до другого; я готов кричать изо всех сил», — «все вы, которые не понимают, научитесь, наконец, познавать свое собственное благо, научитесь познавать, в чем ваше истинное благо, все вы, еще неразумные, научитесь же, наконец, стать умными!» Мелье отождествляет свое дело с делом народа. Умирая, он пишет соседним кюре: «Если вы хотите ответить на это письмо, адресуйте его народу, который возьмет на себя защиту моего дела, или, вернее, защиту дела самого народа, ибо речь идет здесь вовсе не обо мне, не о моем частном интересе... Пусть же народ защищает свое дело, если ему того захочется и как ему захочется...»

Так звучал реквием Жана Мелье. Гордые звуки его тонули в безбрежном хоре народа, творящего свое будущее.

Но торжество великого замысла зависело от точности и продуманности практического исполнения. От ловкости, хитрости, от учета наперед малейших мелочей и всей перспективы дальнейших событий Мелье взывает прямо к народу начните с тайного сообщения друг другу своих мыслей и желаний! Распространяйте повсюду с наивозможной ловкостью писания, «вроде, например, вот этого», то есть его собственного посмертного произведения. Трепеща о трех оставляемых экземплярах своей рукописи, Мелье пишет «Только бы они уцелели! Ибо политике нашей Франции не свойственно допускать, чтобы писания подобного рода опубликовывались или чтобы они оставались в руках народа. Но чем больше запрещают читать и издавать этого рода писания, тем больше их надо повсюду читать и издавать» Никто, пишет Мелье, не догадывается и не решается взяться за просветительную работу среди народа, а кто и решился — «его книги и писания не получают широкой

огласки, их никто не видит, их умышленно устраняют и скрывают от народа»

Затея с завещанием была продумана так, как только заключенный продумывает план побега из тюрьмы. Это была почти немыслимая фантазия. Это во что бы то ни стало должно было проложить себе дорогу в реальность.

Вероятно, окончательный текст своего сочинения, которому потомки присвоили имя «Завещание», Мелье писал в двадцатые годы XVIII века. Грозил слепота, он спешил. Огромное сочинение на 366 больших листах было собственноручно переписано им начисто в трех экземплярах собранно, мобилизовано, безошибочно делал старик сотню раз продуманные последние приготовления к «побегу» — побегу в смерть и бессмертие. Один экземпляр он доставил в нотариальную контору, как тогда говорили — в судебную регистратуру административного центра баляжа, города Сент-Менеульд. Это и было завещание в собственном смысле. Сдавая бумаги для хранения до своей смерти, кюре Жан Мелье приложил письменное завещательное распоряжение, чтобы написанное им было сообщено его прихожанам и послужило им свидетельством истины. Второй экземпляр Мелье предназначил ведомству духовного суда реймского архиепископа с сопроводительным письмом на имя реймского генерального викария. Это было перестраховкой на случай, если первый, основной вариант все-таки почему-нибудь сорвется. Мелье рассчитывал, несомненно, на то, чтобы его рукопись могла этим путем проникнуть в круги образованного и приобщившегося к книжному яду своего века духовенства и вызвать в его среде необходимые ему споры. Третий экземпляр был еще одной, крайней перестраховкой. Он был предназначен, собственно, не официальным инстанциям, а частным лицам. Неподалеку от Этрепины, в городе Мезьере, проживал знакомый и, может быть, друг Мелье, некий господин Леру, о котором мы, в сущности, не знаем ничего, кроме того, что он был судебским служащим — адвокатом и прокурором парижского парламента. Через его посредство или, может быть, для передачи ему рукопись Мелье оказалась на хранении в ратуше Мезьера. Можно уверенно утверждать, что именно к этому третьему экземпляру было приложено и сопроводительное письмо Мелье к кюре соседних приходов, а вернее говоря, письмо к одному из кюре, обозначенному буквой «Д», для сообщения и другим собратьям. В таком случае выходит, что третий экземпляр доверялся заботам личных знакомых Мелье, на которых он считал возможным рассчитывать — господина Леру и кюре «Д». Вероятно, «Д» — это кюре Делаво.

Не напрасны были все эти предосторожности и перестраховки. Можно даже сказать более остро — что они были напрасны: сработал только третий экземпляр, да и тот не так, как планировал Мелье, скорее благодаря уму и дополнительному дальновидному расчету его доверенного Леру

Мы не знаем точно, как все рухнуло. Но суть катастрофы была примерно такова.

Все окончив, завершив дело жизни, Жан Мелье умер. Историкам, несмотря на предпринятые старания, не удалось найти в документах дату его смерти и похорон или его могильной плиты. В приходской церковной книге нет записи о его похоронах! Есть записи о совершенных им требах в мае 1729 года. Последний подписанный Мелье документ, недавно найденный, это совершенный 27 июня 1729 года акт о его отказе от прав на часовню де Те в пользу такого-то. 7 июля — опись имущества покойного Жана Мелье... 9 июля — запись о назначении в Этрепиньи нового священника Антуана Гильотена. Итак, Жан Мелье скончался не раньше 28 июня и не позже 6 июля 1729 года — в пределах этой недели.

Само молчание церковной книги кричит. Со священником, кюре не могли после смерти обойтись хуже, чем с любым бедняком прихожанином, похороны которого всегда записывались. Это молчание почти наверняка говорит о том, что покойный кюре был признан самоубийцей и не был предан земле по положенному обряду. И в самом деле, имя Жана Мелье впоследствии постоянно сопровождалось утверждением, что этот кюре-атеист в шестидесятипятилетнем возрасте, почти ослепнув, ускорил свою смерть, запершись один в своем доме и отказываясь от пищи и питья.

Если допустить, что это правда, мы слишком хорошо знаем все тайники мыслей Мелье, чтобы истолковать умерщвление им себя как акт усталости и отчаяния. Если он в самом деле решил так сделать, то причина могла быть только одна: закончив труд и разместив три экземпляра согласно плану, он уже же хотел подвергать предусмотренный ход событий никаким случайностям. Ведь его дальнейшая жизнь могла быть лишь посторонней и случайной по отношению к завершенной жизни. Чтобы все шло в соответствии с абстрактной и совершенной логикой великого замысла, Мелье мог ускорить свой конец. В пользу такого представления можно привести одно место из письма Мелье к кюре соседних приходов: «И если вы сочтете меня достойным похвалы, я не подумаю гордиться этим, я не жду от вас ни похвал, ни упреков, ни даже чтобы вы ответили мне, потому что я скоро умру. И я должен оставить мир, то есть я

должен окончить свои дни до того, как это письмо будет вам передано». Это можно истолковать как план действий. В таком случае эта смерть скорее похожа на подвиг воина, чем на слабость старца.

Другое предположение: коварный ход противника. Что могло бы дать право не выполнить последнюю волю священника? Ведь они, конечно же, читали там, в Сент-Менеульде или в Реймсе, этот «катехизис антихриста». Можно представить себе, что иезуитской изворотливости вполне хватило для плана: воспользоваться тем, что болезнь, приведшая Мелье к смерти, в последние дни не давала ему принимать пищу, и объявить это сознательным самоубийством.

В пользу такой догадки говорит странная бумага, сохранившаяся в департаментском архиве, в связке, относящейся к Этрепиньи. Она касается смерти Мелье и написана кем-то тогда же. «Видя, что конец его приближается, он отказался от принятия всякой пищи, пока не наступила смерть. Но слишком уверенный в том, что она должна вызвать скандал, он заготовил заявление, составленное следующим образом: „Да ведомо будет поклоняющимся Христу, для их успокоения, что я неизменно пребываю в намерении все делать так, как полагается делать по правилам нашей так называемой церкви“. Не ясно ли, что он догадался о возможной ловушке? Но какое дело коршунам до адресованной им записки!»

Кажется, Мелье успели похоронить согласно его завещанию: он просил, чтобы его зарыли в его саду. В каком саду? Остается неясным, где может покоиться его прах — в саду возле домика кюре при церкви в Этрепиньи или в принадлежавшем ему личном саду в Мазерни. Но, так или иначе, похороны Мелье не были оформлены в соответствии с его саном и официальным вероисповеданием. Слух о самоубийстве действовал быстро и безошибочно. Завещание самоубийцы можно было не выполнять. Так задуманный им удар был парирован несложным контрударом.

По вести о самоубийстве кюре, казусе небывалом, архиепископ Реймский выслал в Этрепиньи своего старшего викария Лебега вместе с членом церковного суда. Безбожное и крамольное сочинение самоубийцы было с полным юридическим основанием изъято и уничтожено. Родственникам самоубийцы пришлось отречься от наследства. Вставал вопрос об извлечении трупа из могилы, но осторожность подсказала, что это уж будет чересчур.

Опись вещей и наличности кюре Мелье, произведенная 7 июля, определила стоимость его имущества, завещанного

беднякам Этрепиньи, в 140 ливров. Но вместе с теми владениями, которые могли бы унаследовать родственники, сумма по описи, законченной 21 июля, поднялась до 1872 ливров. Наверяд ли все это досталось его прихожанам.

Однако Мелье все-таки оставил им нечто гораздо большее. По крайней мере к их внукам долетела толика зажженного им огня.

Мировоззрение Мелье было враждебно смерти, хотя в смерти он и нашел единственную открывшуюся тогда дверь в жизнь. Но он часто привлекал идею смертности при изложении своей философии. Это был весомый и зримый факт для отпора воображаемому бессмертию. Полной смертностью всего живого Мелье разил богов и потусторонний мир. В то же время, настойчиво подчеркивая смертность, Мелье крепил новый взгляд на этику: она не вспомогательное средство к

бессмертию, у нее более глубокое дно. Из того, что бога и души нет, нимало не вытекает «все дозволено». Наоборот, Мелье на века запечатлел идею, что, когда религия отброшена, виднее, почвеннее, недвижимее в качестве основы человека становятся первичные истины его ума и морали.

По словам Сильвена Марешаля, кто-то составил следующую эпитафию на могилу Мелье: «Здесь покоится Жан Мелье, кюре Этрепиньи, деревни в Шампани... Перед смертью он отказался от того, что проповедовал в течение жизни, и ему не надо было верить в бога, чтобы быть честным человеком».

Глава 5. Святые и либертины

«Конечно, не в книгах, а в живой жизни источник революционного настроения Мелье. Жизнь нищей и угнетенной деревни сделала его демократом и революционером». Конечно, не в книгах, — мы уже убедились в истине этих слов академика В. П. Волгина. Ученый прекрасно отчеканил серебряные ключи к Жану Мелье: «Его „Завещание“ важно для историка, как симптом, как своеобразное отражение тех революционных настроений и социальных чаяний, которые в период кризиса феодально-крепостнического строя зарождались в сознании находившейся на грани нищеты деревенской бедноты. Этот замечательный документ — свидетельство глубинных течений в обездоленной крестьянской массе, течений, которые столетия спустя, в 1789 году, бурно вырвавшись на поверхность, опрокинули и феодальный порядок и абсолютную монархию».

Конечно, не в книгах. Но теперь пришло время рассказать и о книгах.

Жан Мелье был бы незаметен, ветры и бури эпохи сдули бы его, как других священников, взывавших к силам народного бунта и богохульствовавших, если бы он не сотворил великого сплава, с одной стороны, из дыхания народа, его зачаточных, скорее возможных, чем действительных, помыслов, и, с другой, наличных сокровищ интеллекта и образования, бесценных кристаллов, доставшихся в наследство от предыдущего горения человеческого ума.

Спустимся в подземные лаборатории его научного дворца, в обширные залы этих сокровищ, пущенных в горы.

Биографы Мелье, не насытившись нищими событиями внешней жизни, в поисках умственных вех, жадно изучили то, что иногда называют «библиотекой Мелье»: список упомянутых и цитируемых им авторов. Каталог получается не маленький, весьма разнообразный. Он говорит об образованности, необычной и даже недопустимой у обыкновенного кюре. Мелье, безусловно, слишком много читал, в том числе и такое, чего при его сане никак не надлежало читать. Но каталог не дает права и называть его эрудитом. Многое, что должен был знать человек начитанный, вдруг странным образом отсутствует в его ссылках.

Но тому есть два объяснения. Конечно же, в героическом самообразовании сельского кюре поистине неминуемы были неровности, огрехи и пустоши. Прочел он много, но, видимо, и прошел, не подозревая, мимо иных алмазных россыпей. Но почему надо думать, что в цитатах и сносках отражен круг его

чтения? Вот уж чему никто не учил его, так это премудростям кавычек и подстрочных примечаний. Исправно, слишком исправно и слишком обильно он оформил рукопись только библейскими священными текстами, привлекая их, как и полагалось в писаниях и речах духовенства, нередко даже не по смыслу, а по созвучию, по натяжке. В «Завещании» столько ссылок на Ветхий и Новый завет, на пророков, отцов и учителей церкви, как в заправском богословском трактате, и ни одна из них, решительно ни одна, автору ни к чему — вроде как оратору, привыкшему вставлять через каждые несколько слов «так сказать». Научили Мелье смолоду, несомненно еще в семинарии, обильно поминать и античных авторов. Он из них держал в голове многое, видимо, наизусть. Ссылки на христианские и античные источники сделаны по принятой форме, исправно. Но вот ссылками на новых авторов в ту эпоху вообще пренебрегали, а Мелье — в особенности. Цитаты — не только что без кавычек, но в большинстве весьма неточные, вероятно на память или отложив в сторону прочитанную книгу. А уже в примечаниях бог весть что окажется: иногда заглавие без автора, иногда автор без заглавия, страница то указана, а то и нет.

Остается впечатление, что Мелье и в голову не приходило демонстрировать, как в добропорядочной кандидатской диссертации, «использованную литературу и источники». Он прочел бесконечно больше, чем упомянул. Всю жизнь он читал книги — чтобы думать, а не чтобы цитировать.

Навряд ли он их и коллекционировал. Просматриваешь сноски к «Завещанию» и словно видишь, как снимает он с полки ту или иную из немногих почему-либо полюбившихся или просто прижившихся в его комнате книг. Большинство оставило следы лишь в созревании мысли. Иные, впрочем, несли на полях — и это заменяло вообще в XVIII веке выписки или конспекты — пометы, реплики, раздумья. Лишь одна такая книга с полки Мелье была занесена впоследствии в руки просветителей. Это трактат Фенелона «О существовании бога» (1718), снабженный обильными замечаниями Жана Мелье. Наряду с «Завещанием» Мелье распространялись и списки этих замечаний, иногда на экземплярах книги Фенелона. Один такой экземпляр имел у себя Гельвеций; еще позже Сильвен Марешаль даже рекомендовал читателям своего «Словаря атеистов» знакомиться со взглядами Мелье по этим возражениям Фенелону.

Таким образом, даже самыми тонкими филологическими приемами мы не можем наверняка решить, каких авторов Жан Мелье не читал. Поэтому никак не обойтись обзором тех, кого он безусловно читал, а придется рассказать и вообще о главном

водоразделе идей его времени. Не так, так этак, не сам, так от кого-либо, Мелье знал все это, был и в самой сердцевине и на самом переднем крае современности.

Из античных авторов более всех Мелье запомнил тех, у которых встретил рассказы о золотом веке, — Лукреция, Вергилия, Овидия; у кого встретил затерянную среди всего прочего идею коммунистической общности и полного равенства, как Платона и Сенеку. Ему очень запомнился и понадобился материализм Лукреция, антихристианизм Лукиана. Для исторических примеров и имен он обращался к Тациту, Титу Ливию. Упоминает Мелье кое-кого из средневековых церковных писателей, а из светских — Филиппа де Коммина, премудрого министра, дипломата и историографа царствования Людовика XI.

Из авторов XVI века он, видимо, знал, однако прямо не поминал «тираноборцев» времен религиозных войн; но более всего, может быть, на первом месте среди всех с почтением цитируемых авторов называл он Монтеня. «Опыты» Монтеня импонировали ему глубокими религиозными сомнениями, он знал эту книгу вдоль и поперек; а еще больше авторитету Монтеня ошибочно посодействовал в его глазах тот факт, что в собрании сочинений Монтеня в 1727 году был впервые опубликован приписанный Монтеню текст сочиненного еще в середине XVI века «Трактата о добровольном рабстве». Действительным автором его был Ла Боэси. Идеи этой удивительной книги были особенно близки, особенно по душе Мелье. Некоторые фразы «Завещания» почти прямо повторяют соответственные положения Ла Боэси.

Кстати, это служит косвенным доказательством того, что в 1727 году, за два года до смерти Мелье, работа над «Завещанием» находилась в самом разгаре.

Среди французских авторов XVII и начала XVIII века Мелье как у себя дома. Он в гуще идейной жизни своего века, хорошо знает ее диссонансы и конфликты: с официальной теорией абсолютизма спорили антиабсолютистские теории, начиная от самых умеренных, кончая республиканскими; официальное католическое учение пытались подправить и подновить богословы и философы разных толков. Не только текст, но прямые упоминания имен в «Завещании» говорят, что Мелье в курсе всего этого.

Из философов Мелье более всего уделил места Декарту и Мальбраншу, опровергает их в нескольких местах, — впрочем, очень по-разному: Мальбраншу он во всем противоположен, с Декартом же он и связан крепчайшими, может быть и не полностью заметными ему самому, нитями; солнце научного

мышления в XVII веке еще только восходило, Декарт распахнул его лучам ставни и двери, и только озаренный этими лучами, Мелье мог стать тем, чем он был. Что-то отдаленно подобное есть и в отношениях Мелье к философии Фенелона и Паскаля. Из иностранных философов он, бесспорно, знал и использовал лишь Ванини и Спинозу. Об английских философах — ни намека. Возможно, он их в самом деле совсем не знал. Кроме, конечно, Бэкона. О Локке он не мог не слышать от отца Бюффье, но, вероятно, сам не читал. Это важно для понимания истории материализма в Европе.

Из великих произведений художественной литературы XVII века Мелье цитирует лишь «Характеры» Лабрюйера, привлекавшие его как разоблачающий трактат о контрастах и нравах века. Из памятников церковной и политической истории упоминает он то «Мемуары» кардинала Дюперрона, то «Политическое завещание» Ришелье. Повезло на страницах «Завещания» Мелье трем книгам, несомненно оказавшимся, когда он писал, у него под руками и на полке: сочинению Марана «Турецкий шпион» (1684) и анонимным памфлетам «Благо Европы в 1694 году» и «Дух Мазарини» (1695); все три принадлежат к резко оппозиционной запретной литературе, заостренной против политического, социального и духовного гнета во времена Людовика XIV.

Вооружен Мелье и фундаментальными пособиями по истории: «Историческим словарем» Морери, многотомной «Римской историей» и другими.

Этот перечень книг говорит не о случайном характере чтения Мелье, а о случайном характере цитирования. Было бы педантично и бесплодно заводить вокруг этих сносков старомодный напудренный текстологический менуэт. Мелье дышал свободной грудью в атмосфере идей своего времени. Если бы он не знал какой-либо важной их части, он не произвел бы того великого синтеза, который сделал его «Завещание» великим и бессмертным. Он не подвел бы черту под целой эпохой мысли и не открыл бы собой следующую. Мы довольно пошуршали страницами «Завещания» и посовали нос в ссылки. Дальше надо идти от сути. Ведь наверняка не только могло быть, но и было так: большое число из прочитанных за жизнь книг Мелье, не бывший профессиональным ученым, не только не процитировал, но и попросту забыл. Ему тогда и в голову не приходило, что они еще понадобятся.

Да, конечно, не в книгах источник мировоззрения Мелье, а в настроениях великого народного моря и отдельной малой капли его. Но ведь Мелье вознес глубинные настроения на вершину образования и разума. Что он встретил здесь, чем дышали

образование и разум?

XVII век некоторые историки культуры прозвали Католическим Возрождением. Этим хотят сказать, что после страшнейшего упадка католической веры и католического благочестия, даже упадка просто интереса к религии, упадка, порожденного войнами, взаимными проклятиями и разоблачениями гугенотов и католиков в XVI веке, победившая католическая церковь в XVII веке не только зализывала раны, не только медленно душила и задушила побежденную гугенотскую партию. Этим хотят сказать больше: что католическая церковь во Франции обрела великий духовный подъем, новых вдохновенных апостолов и пламенных воителей. Словом, это было не восстановление, а именно возрождение, не реставрация, а ренессанс.

Иные из историков соответственно нашли для XVII века еще и другое имя: Век Святых.

Кто хочет понять весь исторический резонанс, всю мощь безбожия Жана Мелье, должен помнить, что это был ответный удар меча по «веку святых».

Укрепить веру! У французской монархии, у французских дворян не было более важной задачи после того, как при Генрихе IV в светских делах был наведен первый приблизительный «порядок». Одной лишь светской власти, даже и сгущенной до степени абсолютизма, было недостаточно для внутренней обороны феодальной Франции. Первыми министрами становились католические кардиналы — сначала Ришелье, потом Мазарини, но этого было еще куда как мало, сама обстановка перевоспитывала их в светских политиков Абсолютизм окреп, но буйный ветер и кавардак Фронды показали, как он, в сущности, хрупок, как хромает без второго костыля «порядка» — сильной власти религии над душами. Жан Мелье повторял лишь то, о чем кричала вся окружающая жизнь, — власть и религия, тирания и идолопоклонство действительно так нуждались друг в друге, как совместно работающая пара воров: когда одному приходится туго, другой вызволяет. Палач и поп, поп и палач — они вроде и противоположны, но символизируют обе силы, без которых не удержишь под спудом лаву гнева угнетенного народа. Вся сохранившаяся внутренняя сила, весь инстинкт жизни стареющего общества устремились на то, чтобы могущество монархии «короля-солнца» дополнить «католическим возрождением».

Христианство выглядит сложным и громоздким зданием воззрений, догматов, правил, обрядов. Однако если извлечь самое ядро, оно уж не так сложно. В конце концов оно учит людей

определенному поведению, учит о добродетели и грехе. Добродетель — живи не для себя, а для бога. Всякий грех — лишь видоизменение одной и той же сущности: «первородного греха», или греха как такового. Он совпадает с природой сатаны. В своей «гордыне» и «зависти» восстал против бога один из ангелов; восстание, неповиновение, утверждение себя и жизнь для себя есть суть сатаны и суть греха, внесенного сатаной в человека. В первородном грехе проявилась природа дьявола: возмущение. Всякий неповинующийся — следует за дьяволом, всякий смиряющийся и покорный — повинуется богу. Словом, всякий грех в понимании христианства есть след и проявление одного и того же духа — духа мятежа.

Машина христианской церкви держалась на широком основании — на низшем духовенстве, жившем в гуще простого люда, воспитывавшем массы. Предстоящие ужасы ада действовали сильнее плетей, розог и каленого железа. Жизнь каждого простого человека была опутана страхом совершить какой-нибудь грех, на каждом шагу его преследовал отеческий окрик церкви, подавляющий искушение совершить грех. И все это давило и истребляло в нем самую суть, самый корень любого греха — волю к неповиновению, помысел о возможности неповиновения, неосознанное семя бунта.

Вот что значили слова «упадок веры». Ослабел тормоз, давивший на психику людей, тормоз, мешавший им уподобиться сатане — восстать в гордыне против бога. Восстать против властей, установленных от бога, против божьего порядка на земле.

Суть «католического возрождения» и надо видеть не наверху, а внизу, не в великолепных трактатах о бытии божьем, а в сборниках благочестивых бесед для сельских церквей; не в интригах архиепископов, а в незаметном могуществе ордена иезуитов, в муравьиной работе «духовной полиции» и низовых ячеек ханжеского массового «Общества святых даров» или благотворительных братств Винсента де Поля; не в торжественном кафедральном богослужении, а в заурядной проповеди приходских кюре. Но наверху все это заквашивали и стряпали.

Были предприняты огромные усилия как-то оживить веру, чем-то соединить ее с будничными нуждами бедного люда, подлить масла в полусзатухшую и почти уже не вызывавшую внимания лампаду. С одной стороны, в течение XVII века были сильно обновлены кадры и образ жизни духовенства. Главное же состояло в том, что развернули широкую показную благотворительность среди бедняков, неразрывно сплетая раздачу

хлеба и похлебки, создание приютов для больных и подкидышей, меры против эпидемий и пожаров со святошескими беседами и христианскими наставлениями.

Уже с первых десятилетий XVII века возникли и благотворительные миссии под руководством объявленного позже «святым» Винсента де Поля и тайное «Общество святых даров», по инициативе некоторых кругов духовенства и дворянства. Святоши начали с того, что демагогически приняли под свое наблюдение каторжников, прикованных цепями в тюрьмах и на королевских галерах, — самых буйных, мятежных, наказанных сынов французского народа. «Общество святых даров» шумело против арестов и заключения в тюрьму крестьян за недоимки и долги без соответствующих приказов и списков. Общество брало на себя ханжеское покровительство одиноким девушкам, приезжающим в города из деревень в поисках работы, бродягам, нищим, беженцам из пограничных, разоренных войной районов. Устраивали богадельни для больных, бедных, престарелых. Туда, где разражались стихийные бедствия, эпидемии, а также и в районы подавленных восстаний посылали миссионеров, которые каждую кроху помощи сопровождали обширными объяснениями, что наказания-де посланы богом за грехи.

Вся эта помощь была, конечно, ничтожна, но служила лазейкой, чтобы втереться в доверие и благодарность. Из тех, кого удавалось подманить, создавали тайные группки в самых недрах народной массы, призванные доносить об отклонениях от нравственности и благочестия, о семенах инаковерия и ереси, о неблагонадежных и бунтарях. Через такие организации узнавали и о тайных союзах подмастерьев, которым полиция наносила удары, о чтении запрещенных книг.

«Общество святых даров» не было единственным «заговором ханжей», как назвал его один историк. Существовали и другие, которые в последние десятилетия XVII века успешно конкурировали с «Обществом святых даров». Глубоко в церковных недрах шла смертельная грызня между ними, иезуитами, янсенистами, — эти ночные кошмары отгоняли друг друга, потому что, только протиснувшись как можно глубже и шире в толщу народа, они могли утверждать свою необходимость, прикрываться от разоблачающего дневного света общественной критики.

Но грызня и взаимные доносы оставались за кулисами. Важно, что были приложены поистине огромные усилия для восстановления авторитета католицизма в глазах народа. Церковь не только подновила, подтянула, подправила шеренги священников и миссионеров, с тем чтобы пастыри хоть кое-чем

отличались от греховной и ничуть не сведущей в религии паствы, но и выдвинула плеяду действительно примечательных ораторов, проповедников, подвижников, «пошедших в народ». Среди этих «святых» — Винсент де Поль, аббат Олье, иезуит оратор Бурдалу и немало еще знаменитостей.

Вот на выборку кое-что из проповедей и посланий Винсента де Поля.

Миссионеры должны не возвышать себя над крестьянами, напротив, внушать, что именно они, крестьяне, за то, что они бедны, наделены богом истинным благочестием и истинной верой, которые делают их несравненно богаче всех остальных людей. Не своей ученостью, а своей благотворительной деятельностью духовенство должно снискать доверие этого простого, «нерассуждающего» народа: «никто не поверит нам, если мы не обнаружим любви и сострадания к тем, от кого хотим, чтобы нам верили; дьявол вот очень учен, а ведь мы ему не верим по той причине, что нет у нас любви к нему». Ну, а когда поверят, тогда уж и надо внушать нищим, что нужда и страдания — это величайшее счастье, так как напоминают об особом расположении бога к беднякам. Напротив, и нельзя и некого винить за эти бедствия: «ошибочным является недовольство против тех, которые, как полагают, являются причиной наших страданий», ибо страдает-то ведь не только народ, но и государи, и папа, и знатные дворяне; народу остается, не выражая недовольства, покорно принимать все, что посылает бог. Пусть в крестьянах «сверкает любовь к бедности», пусть они довольствуются тем, что им дает бог, хотя бы хлебом и похлебкой, пусть не хотят ни больше богатства, ни больше знатности по сравнению с тем, что имеют, пусть, понеся потери, скажут из любви к богу: он дал, он и взял, — ибо настоящая вера, за которую воздается на том свете, есть богатство не сравнимое ни с какими земными благами. Только не сопротивляться и не рассуждать!

«Возлюбите святую покорность, — проповедовал Винсент де Поль, — такую, когда мы терпеливо пребываем в положении, в котором нас презирают, и радуемся, что нас презирают». Особенно важно, чтобы простые люди «не думали бы иметь свой ум», им нужна простота и вера на слово. «Не надо иметь слишком много любопытства, не надо стараться распознать все самому, потому что это заставляет размышлять над нашими действиями, рассматривать их со всех сторон, а тут злему духу и легко нас запутать». «Нужно унизиться перед богом, видеть только наше скудоумие и убожество, бросить все мысли, которые противоречат этому, отбросить утверждение себя, желание иметь успех и удачу

в наших действиях; лишь после этого будем мы иметь способность отличить истину от лжи». И с полной открытой правдой Винсент де Поль отвечает всякому, кто спросил бы его, для чего все это надо говорить народным массам: «чтобы они в болезнях, печалих, голоде не вышли из терпения, чтобы они не роптали и не жаловались никогда, чтобы они сохраняли спокойствие среди страдания».

Таков автопортрет одного из «святых», одного из самых прославленных деятелей французского «католического возрождения» XVII века.

Вся Франция снизу доверху кишела этими святыми. А вверху, над всеми, наверное, следует водрузить фигуру епископа Боссюэ.

Это был оратор и писатель неслыханного красноречия и дарования. Полное собрание произнесенных им в разное время проповедей, похвальных слов, надгробных речей — монумент высокого стиля и мастерства внушения католического духа. Это обращено не к народу. Это предназначено образованным, духовенству, знати и самому «королю-солнцу» Людовику XIV. Как Винсент де Поль проповедует низам, что хорошо сносить бедность, так Боссюэ проповедует верхам, что нехорошо быть безразличным к бедности народа и не помогать ему. И то и другое — две стороны одного и того же ханжества.

Боссюэ — связующая скрепа между чисто церковным «католическим возрождением» и абсолютизмом. Его трактат «Политика, извлеченная из священного писания» был великой услугой церкви самодержавной дворянской монархии. Король — это земное воплощение бога. Воля короля — воля бога. Пусть Боссюэ и наставляет королей полагать свой единственный долг в благе народа, все оборачивается в конце концов страшной грозой народу, который вздумает не повиноваться королю. «Нужно, чтобы народ боялся владыку, но, если государь боится народа, все потеряно». Государь видит выше и дальше других, поэтому, наставлял Боссюэ, надо повиноваться без ропота, ибо даже малейший ропот есть наклонная плоскость к мятежу.

Теперь стоит заглянуть в претенциозное «Наставление наследнику» самого Людовика XIV, чтобы увидеть, как «католическое возрождение» спаяно с абсолютизмом. Превыспренне Людовик XIV повторяет то же: подданные обязаны повиноваться королю, как богу, ибо величие короля олицетворяет перед остальными людьми величие бога. Не только правом, но обязанностью короля является суровое подавление всякого сопротивления, всякого признака непослушания, — разносился поучающий голос с самой верхушки феодально-абсолютистской махины.

Идеология католицизма и абсолютизма невольно строилась вокруг тех же трех больших идей, которые неприметно на первый взгляд, но неумолимо поднимались со дна беспокойного народного моря. Тех трех идей, которые отлились, вскоре в колоссальное создание Жана Мелье. Каждой из них эта официальная идеология давала бой. Безумны чаяния народа обрести утраченную собственность: во Франции действительно нет частной собственности, ибо все имущество принадлежит королю, он вправе дать ее подданным, вправе и отнять. Помыслы о революции и народовластии должны быть раздавлены идеей абсолютного повиновения. Неверие — величайшим торжеством христианского бога, католической церкви.

И все-таки это грандиозное инстинктивное усилие феодального общества, хоть и страстное, и пышное, и блистательное, лишь очень немножко смогло притормозить историю.

Выпущенная за границей против Людовика XIV книга «Вздохи томящейся в рабстве Франции» справедливо заверяла читателей, что французский народ «сохраняет в сердце желание сбросить иго и это является зерном восстаний. Чтобы ему пришлось по вкусу насилия, ему проповедуют о власти королей. Но *êê*бы ни проповедовали, как бы ни твердили народу, что суверенам все дозволено, что им следует повиноваться как богу, что у него нет иных средств против их насилий, кроме как молиться и уповать на бога, — в глубине души этому никто не верит, представляются убежденными только до тех пор, пока не могут подняться».

Уже в последний период царствования Людовика XIV на него сыпался град анонимных памфлетов, насмешек, издевок. С начала царствования Людовика XV, о котором вскоре сложится поговорочка «наш король ниже ничтожества», стало еще хуже. В годы Регентства и позже — на стенах Парижа листовки, на улицах в кареты знати бросают записки с политическими угрозами и требованиями, подаются дерзкие петиции, ведутся недозволенные диспуты о делах государственных и церковных, неведомо откуда появляются стаи неуловимых памфлетов. Парижская толпа несколько раз выразительно проявляет отсутствие страха перед полицией.

Глубоко под всем этим проступала неудача «католического возрождения». Конечно, на протяжении XVII века громадные приложенные усилия подчас давали приливы неистового религиозного возбуждения, волны фанатизма в отдельных местностях или в отдельных слоях населения. Но среди голосов современников преобладает признание: народ мало верит. Авторитет духовенства повсюду понижался. Священники

вызывали больше насмешек и больше вражды, чем благоговения. Вот беглый штрих из Шампани: епископ взывает к интенданту помочь навести порядок в пяти-шести приходах, которые «впадают в дух независимости и что ни день ставят своих кюре и викариев перед новыми трудностями, это сущие бунтовщики!»

На фоне народного недоверия, маловерия, неверия, хотя, может быть, еще и не безверия, понятнее и идейный штурм, которому подвергалась твердыня официальных учений

В умственной жизни образованной Франции разыгрывалась жаркая пальба. Можно растеряться в обилии калибров и мундиров, складов ума и стилей пера. Французский XVII век оставил людям так много интересного и разного, что рука дрогнет разметать улицу на две стороны. А все-таки, ведь все не находившиеся в рядах «святых», кто вслух, кто про себя, обзывали их «ханжами». А те, в свою очередь, упрекали всех и любых несогласных с ними в «либертинстве», что имеет смысл самый растяжимый — от «вольномыслия» до «разнузданности мысли», «распушенности», а то и «распутстве».

Но слово «либертины» все же сохранило в истории смысл звенящий, острый и благородный.

Три великие эпохи можно различить в развитии передовой, раскрепощавшейся французской мысли. Большое, почти несовместимое многообразие духовных плодов XVI века (за вычетом реформации) охватывают названием «гуманизм» или «возрождение». Точно так же кипящую разноречивость идей XVIII века объемлют словом «Просвещение». Осмелимся же все, что лежит между ними, все смущающее многообразие мыслей XVII века покрыть словом «либертинство» — «вольномыслие».

С этим будут спорить. Но это помогает увидеть движение в целом. Гуманизм, либертинство и просветительство образуют три последовательных этапа восхождения от мировоззрения средних веков к Великой буржуазной революции конца XVIII века.

И мы с первого же взгляда видим тут место Жана Мелье. Весь его интеллектуальный багаж, весь его университет, все его заочные профессора — это либертины самого разнообразного склада. Они подготовили его, сделали возможным его появление. И в то же время Жан Мелье — конец либертинства, его преодоление. Он — первый камень эпохи Просвещения. С него начинается эпопея просветительства.

Жан Мелье неминуемо должен был появиться как сокрушительная реакция на «католическое возрождение» — и на его успехи и на его бессилие. Но в известной мере Жан Мелье — реакция на неудовлетворительность, недостаточность успехов либертинов, следовательно на их бессилие и непригодность для

полной победы

Гуманизм во Франции, как, впрочем, и повсюду, думал не штурмовать царившую религиозную- идеологию, а, так сказать, объехать ее на кривой Гуманисты словно открыли новый мир и ринулись в него — мир светский и плотский, мир любви и ненависти, человеческого хохота и человеческого ума, мир красоты и знания Они почти не спорили с ветхой религией, казалось, от нее довольно отвернуться, опершись ногами на более древние, но более прочные камни античности, и призраки средневековой веры отойдут прочь. Не надо их трогать, надо их покинуть Но жизнь основательно поправила гуманистов Нельзя было переселиться в новый мир, а массу народа оставить в старом, и масса ринулась не за ними, а в реформацию, провозгласившую не пренебрежение, а бой

Лишь во второй половине XVI века позднее поколение французских гуманистов обратилось умудренной мыслью к тому, что случилось в стороне и помимо них — к взрыву и расколу в доставшемся от средневековья мире религиозных идей и представлений, от которого они думали так легко оторваться

Поздние гуманисты и были ранними либертинами. Повернувшись лицом к пламени религиозной войны, они провозгласили неслыханную для христианства идею религиозной терпимости. Это было гуманистично. И это было признанием за мыслью права на вольность. Их, этих мыслителей, проклинаявшие друг друга старая и новая церковь стали в один голос обзывать «ахристами» и «атеистами». На самом деле никогда от первого своего возникновения до последних эпигонов, никогда, ни в одной из своих даже самых крайних форм, либертинство не было атеизмом. Оно не достигло последовательного, полного безбожия. Это и отличает либертинов от просветителей — материалистов, это и позволяет обнять именем либертинов целое бурное море умов. Все оно лежит между двумя берегами: никто из либертинов уже не поворачивается спиной к вопросам религии или политики, никто из них еще не атеист, как и не революционер.

Но какое же это было кипение талантов и мыслей! Какое щедрое обилие эрудиции, логики, мастерства самых разных стилей и вкусов!

Эру либертинства открыли в конце XVI века Монтень и Бодэн. Оба еще были прямыми наследниками гуманизма, оба положили основу так называемого религиозного скептицизма — признания невозможным, тщетным с помощью разума выбирать, какая вера лучше, истиннее. И тот и другой не против веры, не против бога, нет, — но довольно людям бессмысленно резать друг друга из-за веры и бога, ибо эти споры не имеют логического решения. Бодэн

изображает диспут сторонников Аллаха, Иеговы и христианского Всевышнего и дает увидеть равноценность их аргументов; остается, следовательно, бог вообще, бог на западе и востоке, вне догматов и культов, бог в человеке. У Монтеня за тщетой догматических споров горделиво поднимаются присущие людям совершенно независимо от той или иной религии ум и честность, доброта и человечность.

Заметим, Жан Мелье поистине преклонялся перед Монтенем — последним гуманистом, первым либертином.

В начале XVII века у Шаррона — уже не раздумье и сомнение, а разгоряченная битва за «мудрость», за право человека судить обо всем. Шаррон — основатель того примирения науки и религии, с неизмеримым перевесом на стороне науки, которое получило название деизма; разум, природа и бог — три названия одного и того же.

И разлилось половодье вольномыслия.

Мы отнесем сюда не только Гассенди, в наибольшей степени материалиста из всех либертинов, Впрочем все же не отважившегося до конца порвать и с богом, хотя бы как с изначальным творцом атомов; мы отнесем сюда вместе с ним не только плеяду дерзновенных птенцов его гнезда: Мольера, Лафонтена. Но чем же не вольномыслие и философия Декарта! Она была апологией логики, научного метода, опытного познания всего в мире, кроме, увы, духовной божественной субстанции. Это было грандиозное усилие вполне обособить друг от друга и тем вполне примирить все физическое со всем метафизическим. Вот это примирение, согласование вместо сокрушения и было подлинной сутью вольномыслия. Но сколько же подлинной вольности, вольнолюбия, пинка схоластике в обращении Декарта как к основе основ рационализма — к здравому смыслу «простолюдинов». В основе истины, учил Декарт, лежат не многоученные мудрствования, а простые элементы простой мысли. Поэтому, «чтобы достичь истины, надо раз в жизни отбросить все доставшиеся мнения и воспроизвести заново, начиная с самых оснований, всю систему своих знаний». Жан Мелье, может быть, потому так страстно и спорил с метафизикой Декарта, что вот в этом, да и вообще во всем остальном, кроме метафизики, стоял на его плечах.

Пришли годы Фронды. Накопившиеся силы либертинства прорвали плотину как бурный поток и разлились, казалось все затопляя под собой. Из-под сорвавшейся крышки котла выбросило вдруг несколько тысяч обращенных ко всем грамотным книжек, памфлетов, брошюр — в прозе и в стихах, очень серьезных и очень смешливых.

В этом карнавале умов выделяется и несколько особенно ярких и больших фигур. Прежде всего — еще один питомец школы материалиста Гассенди, неисчерпаемый скептик, сатирик, критик всего окружающего и иронический провидец Сирано де Бержерак. Рядом с ним злой хохотун, создатель развеселого стиля бурлеск и простонародного романа Скаррон, жена которого, впрочем, после его смерти стала одной из повелительниц Франции — фавориткой Людовика XIV, знаменитой мадам де Ментенон. Тут и ученый каноник Клод Жоли, теоретически обосновывавший право народа ограничивать власть королей. Тут и кардинал де Ретц, несравненный мемуарист и памфлетист, неузнаваемо искаживший Фронду, но вписавший свое имя в скрижали либертинства не только тем, как мастерски писал, но и тем, как с отвагой естествоиспытателя оголял религию и политику, тайны дирижирования верхов низами.

Жан Мелье вдохнул далекий ветер Фронды, вкусил от ее хотя бы косвенных плодов, таких, как запретная оппозиционная двору литература конца XVII века. Ветер Фронды и ее буйных изданий — «мазаринад» — дул в паруса либертинов и во второй половине XVII и в начале XVIII века.

Но представление о Фронде не должно побудить смешивать суть либертинов со стилем их творчества. Они бывали и задорными, насмешливыми, дерзкими, легкомысленными, но бывали строгими, стройными, спокойными, как своды в хрустальном дворце высокого разума и вкуса. Впрочем, даже в самых возвышенных или погруженных в глубины мышления творениях их налицо та или иная доля холодной или веселой насмешки, сарказма, иронии и скепсиса.

Диапазон всего, что мы назвали либертинством XVII века, очень широк. От открытой оппозиции до придворной культуры, но несшей в себе какую-то досадную и не подсудную двору независимость, — скажем, в шедших на версальской сцене пьесах Мольера, Корнеля и Расина, или в порожденных нуждами королевского фиска экономических трактатах Буагильбера и Вобана, или в морализировании воспитателя престолонаследника — архиепископа камбрэйского Фенелона. Эту облеченную в лояльность, опиравшуюся лишь на авторитет очищенного разума и очищенного вкуса оппозицию почти не удавалось подвергнуть преследованию, даже когда она стояла на самом острие, как в философии Гассенди.

Только одни зарубежные вольнодумные издания гугенотов, например сочинения Жюрье, провозвестника идеи общественного договора, удавалось правительству и церкви открыто поставить по ту сторону закона.

Но даже в сфере самой католической религии такое умеренное отклонение, как янсенизм, можно и должно по его внутреннему стилю связать с либертинством. Величайший ум янсенистского движения Блэз Паскаль пытался приложить методы научной мысли к воплощению антинаучности — богословию. Он вслед за Декартом развил науку логики, но должен был обнаружить и непреодолимый мол для корабля разума, за которым были закрытые воды религии.

Эпоха либертинства, если брать ее в этом очень широком смысле слова, произвела и глубокое воздействие на орудие мысли — язык. Французский литературный язык стал великим языком именно в XVII веке. Он стал прозрачно чистым. «Максимы» Ларошфуко, «Принцесса Клевская» мадам де Лафайет, «Переписка» мадам де Севинье, «Характеры» Лабрюйера, не говоря о классической драматургии и поэзии, даже научные рассуждения — написаны необычайно четким, ясным и выразительным языком. Язык XVII века сравнительно с прежним стал, может быть, и беднее, но точнее, он скорее логичен, чем художествен. Это было вознесенное до виртуозности мастерство. Тут бывал разнообразный стиль, и «благородный» и «неблагородный», например бурлескный, но всегда это был стиль изощренный, отработанный, точно выражавший стремление мысли.

Но вот у Мелье стиль отсутствует вовсе. Ему надо было скинуть костюм века, стеснявший движения. Раз требовалось отбросить само либертинство, надо было сбросить мундир либертинства. «Он пишет стилем извозчичьей лошади, хотя и здорово лягающей», — сказал Вольтер о сочинении Ателье. Для вышедшей из самой земли правды уже не годились изложницы, в которые так совершенно отливалась полуправда либертинов — всегда несколько салонная или кабинетная, несколько верхушечная, несколько компромиссная.

Впрочем, известный французский историк литературы Лансон, посвятивший Мелье статью в 1912 году, придал довольно высокое значение литературному стилю Мелье. Лансон говорит о борьбе двух течений: отточенного академического стиля (Паскаль, Корнель, Бюсси-Рабютен, Фонтенель, наконец, Вольтер) и стиля, не поддавшегося этой суровой узде, восходящего по-прежнему к языку Рабле. Крупнейшими представителями второй тенденции он считает Сен-Симона, Декарта, Шаплена, Ришелье, Скаррона, д'Аржансона. «К этому же семейству относится кюре Мелье», — пишет Лансон, оговаривая специфическую силу, энергию, горькую страстность, нервность индивидуального пера Мелье.

Однако эти последние черты скорее обособляют литературный язык Мелье от того, что общо для обеих тенденций либертинов.

Либертины представляли некий культурный сплав, полудворянский, полубуржуазный, — вернее, целую гамму сплавов разной пробы. Либертинство было и оппозицией и примирением. Здесь и чисто аристократическая придворная, домашняя оппозиция, вроде герцога Сен-Симона или архиепископа Фенелона; был и разночинный бунт, но все-таки коленопреклоненный и допускаемый в гостиные. Пусть амплитуда была огромная — от физики до остроумия, от классической трагедии до клубов «Храм» или «Нинон», где царило эпикурейство, где прегрешали не столько мыслью, сколько словами и чувствами. Но при всем разнообразии единым для всех было: непримиримое примирено или должно быть примирено.

Все три великие идеи, поднимавшиеся со дна века народными смерчами, не остались чужды либертинам.

Одни оспаривали права королей на имущество подданных. Другие уже писали и картины счастливой, мудрой жизни людей без частной собственности, но только где-то далеко от французской земли, упоенной народными кровью и потом, в вымышленных благодатных странах. У Верраса, первого французского утописта, это земля народа севарамбов. В «Странствиях Телемака» Фенелона это пленительное, как недостижимая мечта, государство Бетика, из-за которого, кстати, отношение Жана Мелье к архиепископу Камбрэйскому невольно было двойственным.

Идеи о праве народов противиться деспотам и тиранам, об изначальном суверенитете народа, о народоправстве нашли немало воплощений в век либертинов. Но вот автор «Вздохов томящейся в рабстве Франции» хотя и грозит абсолютизму Людовика XIV страшным возмездием за узурпацию народных прав и бичует его, однако в конечном счете как раз по той причине, что этот абсолютизм неминуемо породит народную революцию с «отрубанием королю головы» и «разнузданностью», как это было в Англии. Чтобы избежать этого несчастья, автор «Вздохов» призывает смести, пока не поздно, тиранию и образовать конституционную монархию путем бескровного переворота, наподобие английской «Славной революции». Это было пределом революционной решимости

Наконец, и более всего, от самых первых шагов либертинства и до самых последних оно было великим спором с христианством, с католицизмом — с его догматами и претензиями. В этой

лаборатории — колбы, реторты и перегонные кубы самого разного размера и вида. Но и наилучшая эссенция — это все-таки не более чем деизм, то есть не устранение бога, а его отстранение от любых дел мирских до функции творца и первого толчка. И первенцы XVIII века, глубоко расшатавшие веру Сент-Эвремон и Бейль, остались лишь горными вершинами вольномыслия и религиозного скептицизма. Пусть либертины и принесли просветителям XVIII века в наследство целые палаты антихристианского оружия, они, ходившие подчас близко у ворот материализма, принадлежали еще идейной фронде, а не революции. Здесь все еще нег атеизма.

Из либертинов XVII века зачинателем века Просвещения и чуть ли не первым просветителем подчас называют Фонтенеля. Нет, это был беспримесный отстой и кристалл близившейся к концу долгой и пышной эпохи либертинства. Корни его мыслей уходят в учение Декарта, в рационализм. Перед нами распахивается большое, светлое, кажущееся достроенным здание. Фонтенель ненавидит невежество и суеверие, его «Беседы о множестве миров» — апофеоз естественных наук, успехов разума, опирающегося на опытное знание. Это звучит почти как завершение вековых усилий ума, почти как торжественный победный финал, как обретенная гармония, как гневное погребение поверженного врага.

Фонтенель, как и Бейль, был поистине провозвестником и воспитателем и Монтескье и Вольтера.

Но верна ли эта тропа, которая кажется прямой и безошибочно надежной? Хороша ли тропа, так ясно, почти без изгибов бегущая через долины и холмы, главное, нигде не прерывающаяся, чудесно объясняющая, кто кого предвосхитил, кто у кого что перенял, и приводящая путника прямехонько в заоблачные выси эпохи просветителей, эпохи энциклопедистов? У тропинки явный недостаток: она не объясняет, откуда возник совершенно новый ландшафт, новый вид, открывающийся перед путником, оказавшимся в веке Просвещения. Нет, он не перешел туда по гладкой тропинке, он перепрыгнул через бурный ручей. Между либертинством и просветительством не мостик, а горный обвал.

В начале 20-х годов XVIII века были написаны «Персидские письма» Монтескье, в конце 20-х годов — «Завещание» Мелье. В сущности, они почти ровесники. Между ними безмерный контраст. Они словно принадлежат двум мирам, хоть и одной эпохе — Регентству и началу правления Флери. Сравнение этих двух книг так разительно, что тут-то и надо решать, которой из них начинается Просвещение.

Казалось бы, что за вопрос. Ведь Монтескье — признанный старший просветитель. Читаем заново «Персидские письма», положив рядом том Мелье, и ясно видим, что автор «Персидских писем» — либертин, доподлинный, принадлежащий этой традиции всем своим существом, и содержанием, и формой, кровно родственный, блестящий, великолепный либертин!

Под видом переписки двух образованных и знатных персов, путешествующих в Европе, Монтескье высмеивает и разоблачает как бы увиденную чужими глазами Францию. Перед лицом простого разума все здесь предстает нелепым, смешным, несообразным. Здесь все подверглось ядовитейшей насмешке: король, монархия, жизнь и нравы двора, духовенство, культ, чиновники, суд, ученые, журналы, семья, моды. *Все* предано бичу сарказма. Впрочем, вчитываясь, замечаем мы, что народ здесь как-то странным образом почти стерся. Нет здесь образа крестьян, хотя бы в трагедии их слепого труда, как у Лабрюйера, не только что в трагедии их слепых восстаний, как у Мелье.

Монтескье словно ищет средств не сокрушить твердыню, а обойти ее. Удары его шпаги предназначены ранить, а не убивать. Эта дуэль разума с предрассудками должна окончиться рукопожатием между победителем и побежденным.

Монтескье, по крайней мере такой, каким он предстает в «Персидских письмах», принадлежит философии, скептицизму и неубийственным насмешкам XVII века. Недаром лучшее, что усмотрел его перс во Франции, это труды философов и физиков, которые «идут в тишине стезей человеческого разума». Монтескье весь с породившей его школой

Мелье тоже взошел на дрожжах XVII века. Он знал его, внимал ему, плавал в нем. Без великой работы, проделанной XVII веком, он не мог написать свое «Завещание».

Но он противоположен либертинам.

Монтескье же в «Персидских письмах», как и в книге «О величии и упадке римлян», ничем не противоположен либертинам.

Едва мы заметили это, как врывается поток света: «старшие просветители» как называют Монтескье Я Вольтера, в сущности, были поздними либертинами. Все творчество Вольтера, весь дух вольтерьянства — это же апогей литературы, деизма, стиля, ума, насмешливости, но и компромиссности, соглашательства, придворности либертинов XVII века. Он их плоть от плоти, он последний богатырь их войск.

Однако «старшее поколение» просветителей, Монтескье и Вольтер, — это и не просто либертины. Это такие либертины, которые с середины 30-х годов XVIII века испытали страшный

порыв неведомого буйного ветра. В традицию, вскормившую их, вторглось что-то новое- и устрашающее. «Читая Мелье, я дрожал от ужаса», — писал Вольтер. Оба они должны были дрожать от ужаса. Оба шарахнулись, каждый по-своему, оба, как учуявшие волков кони, понесли золоченую карету либертинства уже без прямой дороги в расступившуюся перед ними чащу Просвещения.

Но Монтескье остановился на опушке. Заключительные главы «Духа законов» (1748) — это, в сущности, примирение с действительностью. Дух примирения победил дух борьбы

Вольтер же устремился в самую глубь. Для него знакомство с произведением Мелье было умственным потрясением на всю долгую жизнь. Он предезко размахивал головней, полупотухшей в его руках, и разлетавшиеся искры делали его фигуру величественнее и грознее во мгле дореволюционной Франции. Но все же унаследованная жажда примирения тяготела над ним. В 40-х годах он уже чуть не примирился с двором и не стал королевским историографом. А в последние месяцы жизни все-таки примирился — либертин под занавес таки победил в нем просветителя.

Нам сейчас интересен лишь внутренний тупик либертинства, как определенной общественной идеологии. Без уяснения этого, из одной только общественной психологии нельзя объяснить появление Мелье. Внутреннее противоречие либертинства: все отвергать, но со всем примириться. Величайшая нелогичность при преклонении перед логикой! Сама логика взывала о том, что так не может бесконечно продолжаться!

Глава 6. Против имущих

Находясь на самых нагорных высотах безупречной литературы и отделанного ума «великого века» французской культуры, Вольтер не мог не сказать, что Мелье пишет стилем извозчичьей лошади. Это барская грубость, но не без резона. «Завещание» Жана Мелье не памятник художественной литературы. Это громоздко и тяжеловесно, как плотницкая работа крестьянских рук. Это растянуто и массивно. Это утомительно и совсем не занято. Это словно сложено из камней. Из пригнанных друг к другу тяжелых камней мысли, собранных один к одному на протяжении целой жизни.

Вольтер поднес читателю «извлечение» из Мелье. В одном отношении он был прав: чтобы широкие круги, будь то в XVIII веке, будь то в XX, узнали мысли Мелье, необходимо их пересказать. Но в отличие от Вольтера надо передать все стороны его ума; пересказывать, так уж все идеи «Завещания».

И все равно рассказ выйдет нелегким. Если Гегель говорил о себе, что его систему не изложишь ни кратко, ни популярно, ни по-французски, то систему Мелье можно изложить и кратко, и популярно, и на любом языке, но нельзя сделать изящной. Слишком она проста. Да и не надо: кюре из Этрепины обращался к читателям не в напудренных париках.

Право же, не занимательно все это. Хотя бы потому, что Жан Мелье не изобретатель, а открыватель, не создатель чего-либо, а скорее смельчак, объявивший, что король гол. Великий скульптор на вопрос, как он творит, ответил: «Беру глыбу камня и удаляю все лишнее». Похоже на это понимал свою работу Мелье, зная притом, что высекает истину топором — пусть этот топор и оказался из самой лучшей, закаленной, звенящей стали.

Его дело было делом народа. Надлежало в целом рассказать народу то, что народ знал по частям или не точно, смутно.

Вы удивляетесь, бедняки, что в вашей жизни так много зла и тягот? А вы попробуйте-ка сложить в уме все как будто разные вещи. Как виноградари в евангельской притче, вы одни несете всю тяжесть полуденного зноя. Вы одни несете много нош. Это не только то ненавистное бремя, которое возлагают на вас ваши главные тираны — короли, государи. Мелье говорит здесь о прямом поводе почти всех извержений огнедышащей народной ярости — о несчетных государственных налогах, прямых и косвенных, вызывающих восстания. Ведь вдобавок к этому ненавистному бремени, обобщает Мелье, вы несете еще бремя всего дворянства, всего духовенства, всего монашества, всего

судейства, всех военных, всех откупщиков, всех служащих соляной, табачной монополии, — одним словом, всех трутней и бездельников на свете. Ибо только плодами ваших тяжелых трудов живут все эти люди, живут и все кормящиеся около них слуги.

Как и в начале «Завещания», так и в его конце Мелье настойчиво объясняет, что вся пестрая вереница разнообразнейших персонажей, которые из-за неведомых кулис, откуда-то сверху появляются время от времени перед крестьянином, вся эта галерея внушающих трепетное почтение и столь разнообразно, как в маскарade, разодетых действующих лиц, что все они — одно целое, одни и те же в разных облициях. Это ваши государи, объясняет Мелье своим будущим деревенским слушателям, своим прихожанам, ваши герцоги, ваши князья, ваши короли; это вместе с тем гордая, надменная родовитая знать, которая живет среди вас, попирая и угнетая вас; все эти чванные чиновники ваших князей и королей, все эти горделивые интенданты и губернаторы городов или провинций, заносчивые сборщики податей или налогов, кичливые откупщики и канцелярские чиновники, надменные прелаты и церковники, епископы, аббаты, монахи, все захватчики доходных мест, все богатые господа, дамы и девицы, которые ничего дурного не делают, кроме как развлекаются и предаются всякого рода приятному времяпрепровождению, в то время как ты, бедный народ, занят день и ночь работой, несешь на себе все тяготы труда в зной и в непогоду, выносишь все бремя государства.

В этом параде есть уже обобщение — широкое обобщение, неожиданное для своего времени. Мало того, в нем уже вложено и отрицание. Раз все они — одно и источник дохода их один, то, как только народ поймет это, — и конец им будет один.

Однако и по отдельности о многих сортах тех, кто живет народным трудом, Мелье сказал ясные и понятные народу слова.

В том числе о дворянах. Собственники земли, сеньоры — самые близкие, находящиеся всегда на виду господа и притеснители.

Мелье нечего разоблачать их, довольно напоминать и называть вещи своими именами. Мало им, что у них земли, вотчины, чудесные усадьбы, что у них еще и почет, — они и у крестьян стараются отнять достояние, то хитростью, то насилием. «Крестьяне всецело являются рабами тех сильных и знатных мира сего, земли которых они обрабатывают или арендуют». Повседневно, говорит он, видим мы притеснения, насилия, несправедливости и грубое обхождение, чем терзают дворяне бедный и простой народ. Они изводят быть недовольными, если

им не уступают всего, что они требуют, если перед ними не ползают на коленях. Они требуют в свою пользу разные взносы, требуют, чтобы им отрабатывали барщину, требуют для себя служб, которых, собственно, никто не обязан им оказывать. Самый мелкий дворянчик, самый маленький помещик норовит добиться у народа страха и повиновения, предъявляет всякие несправедливые требования, он обуза для народа, он забирает все, где что можно, смотрит, как бы что урвать то у одних, то у других. И, сказав эти обыкновенные для крестьян истины, Мелье издевается тоже так, как понятно крестьянам: с полным основанием сравнивают этих людей с глистами, ибо, как глист, не переставая, беспокоит и гложет зараженное тело, точно так сеньоры беспокоят, мучат и пожирают массы бедного народа. А ведь эти массы бедняков могли бы быть счастливыми, не будь они жертвой злого глиста! Но они будут несчастными вечно, если раз и навсегда не избавятся от него.

Мужиков запугивают чертом. Кто хуже — черти или знать? Говорят, что дьяволы — самые злые и отвратительные существа, худшие враги людей.

Но знайте, — восклицает Мелье, — что для вас нет более злых дьяволов и худших врагов, чем родовитые, знатные и имущие: они вас грабят, они вас терзают, они делают вас несчастными! Живописцы напрасно рисуют дьяволов в виде безобразных, противных чудовищ, было бы вернее изображать их в виде великолепных господ, владетельных и благородных, распрекрасных дам и девиц, разнаряженных, напудренных, раздушенных, завитых, блистающих золотом, серебром и драгоценными камнями. Дьяволы, которых изображают проповедники и художники, существуют лишь в воображении, они могут внушить страх только детям, темным людям. А вот эти господа и дамы существуют на самом деле и причиняют они взаправдашнее зло. Поистине у вас нет более могучих и злых супостатов, чем эти имущие, чем эти сильные и знатные мира сего, ибо именно они попирают вас, истязают и делают несчастными.

Итак, говорит Мелье, перед нами поразительное, великое зло: огромное неравенство между имуществами, между положениями людей.

Но земельные сеньоры — это всего лишь номер первый. Кроме них, сколько всяких других, кто живет богато, потому что народ живет бедно.

Духовенство! Какие несчетные доходы выжимает из бедняков церковь — все это огромное множество церковников, бесполезных попов, сонм монсеньеров, аббатов, приоров и каноников,

чудовищная масса монахов и монахинь! Мелье насмехается над маскарадами разношерстных монашеских орденов, мужских и женских. Он не пожалел места для перечисления идиотств их внешних отличий, которыми они мозолят глаза людям. Лица духовного звания, говорит Мелье, чуть ли не лучше всех обеспечены доходами и всеми благами жизни: наилучшим жильем и обстановкой, наилучшей обувью и одеждой, наилучшей пищей и лечением. Исключение Мелье делает только для приходских священников и их заместителей, викариев, от которых народ получает хоть малую толику просвещения и наставления в добрых нравах.

Особенно омерзительны монахи: они дают обет бедности и умерщвления плоти, но их монастыри имеют вид господских усадеб или княжеских дворцов, их сады полны цветов и вкусных плодов, их кухни всегда обильно снабжены всем, что может дать уладу аппетиту — как мясом, так и рыбой, смотря по обстоятельствам и времени года. У монахов повсюду обширные поместья, приносящие им большие доходы. Они получают с большинства приходов богатую десятину. Часто пользуются они сеньориальными правами. В общем собирают обильную жатву, не сеявши, сильно богатеют без всякого труда и могут, ничего не делая, жить в свое удовольствие в приятной благочестивой праздности.

Зная толк во всем этом, Мелье не скупится перед народом на примеры. Обедневшие бенедиктинцы имеют, увы, каких-нибудь сто миллионов золотом годового дохода. Они побогаче белого духовенства. Богатство этого ордена — бездонное и безбрежное море. Мелье перечисляет множество аббатств и их доходы, подвластные им огромные сеньории, многие тысячи селений, усадеб, рент. Нечего сказать, бедняки! Разве обладать и наслаждаться столькими благами и жить среди моря разливанного всяких богатств — значит соблюдать обет бедности? Нет, отвечает Мелье, на таких жирных хлебах они живут за счет труда других. Владея громадными поместьями и богатствами, они не вкладывают своего труда, они живут чужим трудом и от чужого труда. Попросту вырывают они из рук тружеников то, что те зарабатывают, производя в поте лица своего.

А нищенствующие монахи! Их тридцать четыре ордена, добрых миллион-полтора человек. Это вымогатели. Им ведомы сокровенные тайны попрошайничества. Они заставляют развязывать кошельки всех, у кого что-нибудь есть и не совсем чиста совесть. В результате их храмы — этой сокровищницы редкостей и украшений, их ризницы набиты серебром. «Как уж

тут, — приводит Мелье слова вольнодумного епископа дю Белле, — среди таких богатств, лежа на кучах золота и хлеба, стенать о голоде, который подводит живот!»

Один гвоздь годнее, чем все, что делает духовенство целой Франции, чем все, что служит им средством получения этих огромных доходов. Один удар лопаты крестьянина, обрабатывающего землю, полезен; удар за ударом — произрастает зерно, кормятся люди. Хороший землепашец, бросает попутно Мелье (заметим это!), своим плугом готовит произрастание такого количества зерна, которое превышает его потребности. Профессия самого последнего ремесленника полезна и повсюду необходима. Даже профессия актеров, флейтистов и скрипачей служит отдыху народа от тяжелого труда, она полезна. Все церковники, вместе взятые, не вырастили и одного зерна.

Рядом с тем, что выжимают из крестьян сеньоры — собственники земли, их господа, налагающие на них всякие повинности, рядом с тем, что выжимают из этих несчастных церковники, Мелье ставит отягощение их государственными налогами и поборами. Пожалуй, этому отведено даже особенно много гнева. Это оскорбляло крестьян. Мелье включил в свой текст целый очерк истории возникновения налогов во Франции, начиная с Филиппа Длинного. Сначала это сборы с подданных, устанавливаемые Штатами; потом доходы с коронных земель; начиная с династии Валуа — подушный налог (талья), соляная монополия и многие другие разорительные сборы. Среди них — добавок к талье — «тальон», так называемый «продовольственный сбор» на содержание солдат и без числа других.

Мелье приводит слова Коммина, министра Людовика XI: король брал у бедных, чтобы давать тем, которые вовсе не нуждались. Мелье продолжает: положение, в котором мы сейчас находимся, несомненно, гораздо хуже, и если уже в то время нищета и бедствия народа вызывали жалость, то теперь население несравненно более обременено, более измучено, чем в 1464 году. Доходы короля превысили объявленные 63 миллиона, куда там, они еще много больше, они, безусловно, перевалили за 80 миллионов.

А ведь у короля, как посмотреть, нет и тени права требовать какие-нибудь налоги с населения, придумывать новые и новые, чтобы тратить эти деньги на войны, на чиновников, на раздачи отдельным лицам.

Мелье тут пространно цитирует различных, по его мнению, компетентных авторов — Коммина и Ришелье, «Странствия Телемака» Фенелона и «Турецкого шпиона» Марана, анонимные

сочинения «Дух Мазарини» и «Благо Европы в 1694 году». Вся эта литература в обработке Мелье вопиет не только против деспотизма и самовластия королей, но также специально против налогов.

Поистине страшное народное бедствие, в глазах Мелье, налоги, безудержно устанавливаемые королями. Чего они только не делают, чтобы обладать всем золотом и серебром своих подданных! Под всевозможнейшими пустыми ссылками на мнимую необходимость вводят они во всех подвластных деревнях и городах огромные налоги, затем удваивают, утраивают их, как им вздумается. Чуть что не повседневно-новые поборы, новые указы и приказы короля и его первых чиновников, заставляющие народ доставлять все, что им требуется. По деревням отправляют солдат, чтобы силой принудить народ к уплате и исполнению приказов. На бедное население обрушиваются постой за постоем, взыскание за взысканием; его преследуют, притесняют, попирают; его обирают на все лады.

Массам бедного народа приходится отдавать все, что у них спросят. Ведь спрашивают под страхом разных принудительных мер: продажи имущества за долги, заключения в тюрьму и других насилий и жестокостей. Невыносимость этого рабства и грабежа на каждом шагу усугубляется безжалостностью всей несчетной армии сборщиков податей. Это, по словам Мелье, почти всегда люди заносчивые, от которых бедному населению приходится терпеть грубости, хищничество, плутни, лихоимство, всяческие кривды и несправедливости.

К этому разряду людей, объедающих и обирающих народ, Мелье относит откупщиков податей, «подвальных крыс» контролеров, вынюхивающих имущество, канцелярских чинуш, сборщиков, наконец, бесчисленных плутов, негодяев и мошенников по части соляной и табачной монополий, только и знающих, что колесить по стране в розысках добычи. Все они в восторге, когда удастся отнять у кого-нибудь его добро.

Но прямое обложение — это еще полдела. С другой стороны, говорит Мелье, короли устанавливают большие налоги на всякие товары, чтобы получить прибыль со всего, что продается и покупается: они облагают сборами вино и мясо, водку, пиво и масло; они облагают шерсть, полотно и кружева, перец и соль, бумагу и табак, всякого рода съестные припасы; они взимают пошлины за право въезда и выезда; дерут за бракосочетание, крестины, погребение; заставляют платить себе за резьбу на домах, за отхожие места, за дрова и лес, за воды, так что недостает только, чтобы они заставили платить себе за ветер и облака.

В таком королевстве, как Франция, по мнению Мелье, не менее 40 или 50 тысяч человек занимаются обиранием народных масс под предлогом службы королю и взимания для него податей, не считая великого множества насильников солдат, которые под тем же предлогом уж и вовсе грабят и разоряют все, что им попадется под руку.

Мелье приводит данные, что жалование и доходы 40 тысячам служащих, занятых сбором налогов, уменьшают доходы короля больше чем наполовину, так что из 80 миллионов экю, которые он вырывает каждый год у народа, едва 30 миллионов идут в королевские сундуки. Остальные по дороге прилипают к рукам откупщиков и сборщиков. Выходит, вся эта орава богата тоже не чем иным, как имуществом народа. Если из налогов кое-что пытаются оправдать необходимыми расходами на армию и войны, Мелье с гневом отвергает ничуть не полезные народу разбойничьи войны французских королей.

Перечень «целых разрядов людей», вымогающих у народа его имущество и не приносящих ему никакой пользы, еще не кончен.

Мелье ставит на одну доску «паразитов шпаги и мантии» — дворянство и судейство. К числу вымогателей, отнимающих у народа плоды его рук, он считает нужным отнести массу лиц, которых обычно называют служителями правосудия, но которые в действительности являются скорее слугами беззакония, как, например, члены судов, прокуроры, адвокаты, судебные исполнители, регистраторы, нотариусы. Большинство этих людей на деле стремится лишь к тому, чтобы под предлогом отправления правосудия объедать и обирать народные массы.

Это все? Нет, вот еще масса богатых бездельников, у которых в изобилии или в достаточной мере имеются средства к жизни: обладатели так называемых рент или годовых доходов. Ясно, что они существуют лишь трудом других, раз не занимаются сами никаким трудом, живут в вечной праздности, не имея иных забот и занятий, кроме прогулок, различных игр и развлечений; все их раздумья — только о том, как бы хорошо поспать, вкусно поесть и попить и взять от жизни все мыслимые удовольствия и улады.

Стоит заметить, что, говоря об этих рантьерах, живущих на жирные проценты и поступления со своих богатств, Мелье ни словом не упомянул эксплуататоров капиталистического типа — предпринимателей-мануфактуристов или даже купцов. Конечно же, он знал этот вид богачей, но он не знал, как можно было бы объяснить их богатство присвоением труда народа. А задача его одна: смотри, народ, смотри, мужик, все, чем богаты богатые, прямо отнято ими у тебя!

Он не устает метить и метить всех других, кто отнимает

добро у народа Но, говорит он, не перечислишь все множество другой сволочи, как-то: канцелярские чиновники, ревизоры, стражники-досмотрщики, регистраторы, судебные приставы, сыщики, — все они, словно голодные волки, только ищут, как бы сожрать свою добычу, только и знают, что именем и властью короля грабить и терзать простонародье. Он бичует и множество негодяев обоого пола, избирающих себе ремеслом нищенство и подлое выпрашивание на хлеб насущный, вместо того чтобы заниматься честным трудом, — ибо действительно, кроме вынужденного, существовало и профессиональное нищенство, своего рода паразитическое ремесло.

Какая галерея, какая анфилада — от сокровищницы короля до запрятанной в углу копилки и кубышки самого малого кровососа! Для Мелье это не множество, а единство Есть одна простая грань: одни работают, другие, как бы многолики они ни были, загребают почти все себе, только в этом и состоит их работа. Пусть в жизни все это сложно, пестро, прикрыто тем или этим Для того и дан здравый смысл, чтобы сдунуть покровы и обнажить немудреную суть.

Тут нет какого-нибудь сложного открытия, думается Мелье Это потом XVIII век разделает, вознесет до уровня великих систем и открытий сырые, однако уже все содержащие в себе истины Мелье «Все люди равны от природы Они все в равной степени имеют право жить и ступать по земле, в равной степени имеют право на свою естественную свободу и свою долю в земных благах» Последние слова уже слегка смутили бы составителей «Декларации прав человека и гражданина» Но следующие слова — приняли бы их поборники идей равенства, приверженцы Руссо, якобинцы: «все должны заниматься полезным трудом, чтобы иметь необходимое и полезное для жизни» Но в этом-то вся простая мысль Мелье. Она режет общество на две половины, из которых одну можно вышвырнуть. Мало того: должно вышвырнуть.

Резюме нехитрого, немудрящего взгляда на окружающую жизнь, на всех этих богатых и бедных, так очевидно: реальная вещь — только труд, что же до богатства, знатности и величия, то это скопления, горы, моря того же самого труда Мелье обязан объяснять эти простые вещи простому народу «Сок, который питает все эти гордые, знатные роды, — втолковывает он тем, к кому обращено „Завещание“, — это те великие богатства, те огромные доходы, которые они извлекают ежедневно из тяжелого труда ваших рук. Все это изобилие благ и богатств земли — от вас, от вашего мастерства и вашего труда! Это обильный сок, который они добывают вашими руками, поддерживает их, питает

их, дает им жир Он делает их такими сильными, могущественными, надменными и гордыми

Но, если, — продолжает Мелье, — вы хотите полностью иссушить их корень, — лишите их только обильного питательного сока, что получают они из ваших рук, от ваших усилий, от ваших трудов. Удержите за собой все эти богатства, все эти блага, которые вы в таком обилии производите в поте лица своего. Удержите их для самих себя и для всех вам подобных. Не давайте ничего из своих богатств этим спесивым тунеядцам, которые не делают ничего полезного. Не давайте ничего из ваших благ монахам. И церковникам, которые только бременят без пользы Землю Не давайте ничего из них надменным и спесивым аристократам, которые презирают вас и попирают ногами. Наконец не давайте ничего высокомерным тиранам, которые вас разоряют и угнетают»

Таков рецепт, предлагаемый Мелье объяснить зло в уничтожить его — это две стороны того же. Давайте наказ своим детям, родным, друзьям, товарищам совершенно отказаться служить тунеядцам. Отлучите их от вашего общества, как до сих пор отлучали людей от церкви Вы увидите — они скоро иссохнут, как засыхают травы и растения, если корни не могут впитывать соки земли

Вы увидите, что вы вполне можете обходиться без этих ненужных людей, а они-то без вас никоим образом не могут обойтись

Почти за двести лет до Мелье Ла Бозси надумал, что, если бы все подданные зараз сговорились не вносить и капли налогов королю-тирану, нечем стало бы тому оплатить ни войска для подавления этого сопротивления сразу по всей стране, ни чиновников для выколачивания налогов. И тирания рухнула бы; оказалось бы, что она держалась на добровольном рабстве, — на согласии платить, когда есть возможность не платить.

Мысль Мелье, упорно копавшая, как крот, почву жизни, далеко ушла от этой словно геометрия отвлеченной схемы. Можно сказать, он опирался на теорему Ла Бозси, но знал, как отче наш, что тунеядцы добровольно не сдадутся. Не один раз успеют они дать бой, прежде чем обессилят. Знал, что миром дело не обойдется.

Примечательно, что об экспроприации богатств тунеядцев нигде у Мелье речи нет. Богачи и кровопийцы иссохнут без сока народного труда. Но вот землю у знатных отнимут, это обязательно: просто никто за все эти мнимые наследственные права на землю ничего им впредь не даст и не отработает.

Примечательно еще и другое. Почему в глазах Мелье всякое

имущественное неравенство «несправедливо»? Обогнав политическую экономию своего времени, пожалуй, не меньше чем на сто лет, Мелье вывел из наблюдения над жизнью, что всякий доход возникает из труда, а не из капитала и земельной собственности. Богатство и земля — это только кажущиеся источники дохода. Хотя, пишет он об имущих, они владеют очень большими имениями и богатствами, живут-то они все-таки чужим трудом, «в действительности они получают все средства к существованию и все свои богатства только от общества и от чужого труда».

Перед взором Мелье две стороны дела: неравенство положений и неравенство имуществ.

С воодушевлением цитирует он Сенеку, хоть, может быть, и переиначивая несколько на свой лад: мы все равны по рождению и по происхождению, и нет никого среди нас более знатного, чем любой другой, если только он не обладает лучшим умом или большей способностью к добродетелям и наукам. Природа производит всех нас равными и союзниками; поэтому все наименования и титулы королей, князей, монархов, властителей, вельмож, подданных, вассалов, слуг, вольноотпущенников, рабов созданы честолубием, несправедливостью и тиранией.

Да, это вполне подходит Мелье, вполне отвечает его взгляду.

Неравенство юридическое, неравенство сословий, званий, происхождений ожесточает и распаляет Мелье даже не само по себе, а как практикуемый способ обосновывать права знатных и «лучших» на труд и добро простых. Он называет это пустым и возмутительным основанием для нелепого неравенства, которое знати и сильным мира сего отдает всю власть, все блага, все удовольствия, улады, богатства и даже праздность, а простонародью отводит все самое неприятное и тягостное: зависимость, заботы, невзгоды, тревоги, все труды и все изнурительные работы. Такое неравенство делает простонародье рабами знатных, заставляя сносить их пренебрежение и оскорбления, капризы и помыкания. Но главное, самое главное, — знатность и благородство служат предлогом для присвоения чужого имущества.

Сочувственно цитирует Мелье чьи-то слова: самое презренное и заброшенное, самое жалкое и нищее существо — это французский крестьянин; вся работа его идет только на важных и знатных особ, а себе едва может он раздобыть хлеб, несмотря на весь свой труд.

Мелье не пожалел многих страниц, чтобы на исторических примерах доказать происхождение всей знати, всех государей от преступных и омерзительных предков, от гнусных злодеев и

разбойников. Выходит, тут не на что опираться, нечем хвалиться. С гневной досадой описал он и оскорбительные различия, которые молва, обычай устанавливают между разными семьями: одни имеют репутацию более чистых и благородных, на другие бросают косые взгляды, а третьи прямо-таки называют родами колдунов и ведьм. Семьи норовят обесславить друг друга и даже отказываются заключать между собой браки. Право же, эта межродовая вражда столь же нелепа для оправдания неравенства, как и ссылки на старинные завоевания!

Из всего этого вытекает, что имущественное неравенство куда глубже неравенства происхождения, сословного, фамильного. Все это, как и служение королю или церкви, всего лишь предлог и оправдание в ожесточенной борьбе людей за доходы. Только для того, чтобы быть имущими, то есть перекачивать к себе труд других, неимущих, тунеядцам и нужны все эти внешние предлоги неравенства.

Значит, надо ухватиться за корень, за глубже закопанное зло, за частную собственность.

Ради собственности совершаются все остальные злоупотребления. Кто пролез в дворяне, кто в духовенство, кто в судейские, кто в откупщики, в разные разряды грабителей — все ради нее.

И вот мысль Мелье у самого порога святая святых: непостижимая, незыблемая собственность царила над жизнью и над сознанием. Впрочем, он не проявляет ни трепета, ни колебаний. Святыня уже сильно растеряла веру и уважение в беспокойной шумящей народной толпе. Эта утечка святости успела найти отражение и в умах либертинов разного толка.

«Еще одно зло, принятое и узаконенное во всем мире, заключается в том, что люди присваивают себе в частную собственность блага и богатства земли».

Отсюда происходит, что этих благ и богатств каждый стремится получить возможно больше, что одни богаты, другие бедны. Отсюда получается, что самые сильные, хитрые и ловкие, зачастую они же самые злые и недостойные, лучше всех других наделены земельными угодьями и всякими удобствами жизни. Одни всегда живут в достатке и изобилии, среди удовольствия и веселья, ну словно бы в раю, а остальные, напротив, среди тягости, страданий и бедствий нищеты, ну словно бы в аду.

А вот смахнуть бы народу разом всех тунеядцев. Отлучить бы их одним махом.

Мелье думает не о переделе благ, хоть бы и самом крутом, мужицком, черном переделе. Раз в частную собственность — значит карусель начнется сызнава. рубить надо под корень.

Валить надо частную собственность.

Это зло принято и узаконено почти во всем мире, тогда как все должны были бы, объясняет Мелье, владеть благами и богатствами земли сообща, на равных правах. Не только владеть: и пользоваться ими тоже на одинаковом положении и сообща.

Такова единственная мыслимая для Мелье форма действительного и полного равенства. Только общность имущества и есть равенство.

Когда перед глазами историка находятся канцлер абсолютистской Англии утонченный гуманист Томас Мор или истерзанный инквизицией борец за освобождение Италии еретик Кампанелла, естественно, возникает представление, что идею коммунизма когда-то надо было придумать. Извлечь из разума и воображения, как абстракцию и отлетевшую от земли фантазию. Но ведь другие, как проповедники таборитов, как Мюнцер с анабаптистами, как Уинстенли с диггерами откопали эту руду в недрах самой жизни. Они выплавили и отлили зерна коммунизма в огне революций. Не для неведомого острова — для своей страны.

Жан Мелье не придумал общность имущества она для него очевидна. Он открыл не коммунизм, а отсутствие коммунизма. Ничего особенного учреждать не предстоит, надо рушить завал, а за ним — ясные просторы.

Строй, основанный на общности имущества и общем труде, — это та же самая окружающая его Франция, но только при уничтоженном неравенстве. Вот эти самые деревушки, без числа и краю раскиданные между лесами и полями, по косогорам и рекам, эти самые бурги — крупные орехи среди мелких, местечки, то ли большие села, то ли крохотные города; эти самые городишки, города и огромные городища; эти разноликие края, эти несхожие провинции. Да почему только Франция! Хоть весь свет. Вот так же должны убегать вдаль нивы, как сейчас, и так же цвести яблони и вишни, так же зреть на склонах виноград и ремесленники стучать молотками в мастерских. Церквушки, высящиеся над крышами каждой деревни, никуда не пропадут; но священники будут преподавать прихожанам полезные знания и добрые нравы вместо прежнего вздора, поддерживавшего строй неравенства. Так же будет шуметь чаща леса, только можно будет в ней охотиться не сеньору да его гостям, а простым людям. И не будут крестьяне волочить в красивую усадьбу позорные платежи...

Говоря «сообща», поясняет Мелье, я разумею всех живущих в одной местности или на одной и той же территории. Все мужчины и женщины из одного и того же города или из одного

местечка, из одной деревни, одного прихода должны составлять как бы одну семью — видеть друг в друге братьев и сестер. Раз будет отменена частная собственность на плоды земли и труда, все они должны будут, по словам Мелье, жить друг с другом в мире и сообща пользоваться одной и той же или сходной пищей, иметь одинаково хорошие жилища и ночлег, одинаково хорошую одежду и обувь. Приметим: речь идет не об одинаковом, а об одинаково хорошем; не о том, чтобы нарядить всех в одну форму и разливать всем в котелки из одного чана, не об уравниловке, а об отсутствии преимуществ.

Настаивая, что «все люди равны от природы» и «в равной степени имеют право на свою естественную свободу и свою долю в земных благах», Мелье вовсе не предлагает поделить поровну эти блага. С одной стороны, он отмечает необходимость, чтобы «люди установили между собой правильную пропорцию», поскольку и в будущем обществе сохранится * известное справедливое и естественное неравенство и подчинение; с другой стороны, земные блага и богатства должны быть не столько разделены, сколько обобщены.

Но суть-то не в потреблении, а в труде. Чтобы плоды труда были общими, не так важно уметь их раздавать, как важно сделать труд обязательным для каждого и составной частицей общего труда. Распределять надо прежде всего не продукты, а мастерство и силы людей. Все должны, по словам Мелье, одинаково заниматься делом, то есть трудом или каким-нибудь другим честным и полезным занятием. Каждый будет трудиться по своей профессии или сообразно тому, что является более необходимым или желательным; сообразно обстоятельствам или временам года; соответственно потребности в тех или иных предметах. Все это, продолжает Мелье, должно происходить под руководством не тех людей, которые норовят властно, тиранически повелевать другими, а только самых мудрых и благонамеренных, стремящихся к поддержанию и развитию народного благосостояния.

Отмена частной собственности и замена ее общей глубоко изменит жизнь людей, изменит и самого человека. Не будет обманов и уловок, дабы что-нибудь выиграть за счет ближнего, не будет судебных процессов, исчезнет зависть. Не будет краж, грабежей и убийств — незачем будет тянуться к чужому кошельку.

По мнению Мелье, с уничтожением частной собственности и неравенства, с установлением общей собственности не останется места для семьи в старом смысле. Юридически оформлять брак, кажется Мелье, будет ни к чему. Женщины и мужчины, когда

почувствуют, что им тяжело жить друг без друга, будут соединяться, а когда почувствуют, что тяжело друг с другом, будут свободно расходиться. Тогда не станет несчастных браков, как теперь.

Изменится и положение детей. Они не будут, как ныне, с самого младенчества страдать от нужды, голода и холода. Община будет содержать их, растить и воспитывать. Их станут учить добру и честности. Им начнут преподавать свободные от религии науки и полезные для общества знания. Дети будут вырастать людьми сведущими и добросовестными. Это будут полезные для всех других люди — из них не смогут получиться имущие тунеядцы, деспоты, крючкотворы, попы.

Новый мир представляется Мелье построенным как бы снизу вверх. Общины, союзы соседних общин — все шире... В пределах всей Франции? Нет, почему только Франции, мысль Мелье легко взлетает и выше. Там и сям порой упоминает он «народы всей земли». Но он совсем не прожектер. Пока ему ясно только, что новый строй жизни погиб бы, если не будет царить и внутренний и внешний нерушимый мир. «Все города и другие общины, граничащие друг с другом, должны стараться заключить между собой союз и хранить нерушимым мир и согласие, дабы помогать друг другу в нужде. Ибо без такой взаимности не может быть общественного благосостояния, а большинство людей неизбежно снова окажется в несчастном и жалком положении».

И наконец: каково же будет при этом общее количество труда и благ, среднее количество труда от каждого? Больше или меньше, чем прежде? Мелье видит ясное, как законы физики и математики, решение вопроса.

Никому не придется впредь надрываться на чрезмерной работе, трудиться до упаду. Это вытекает из того, что все будут работать и никто не будет праздным. Вы удивляетесь, бедные люди? Вы спрашиваете, — говорит Мелье, — почему же вам сейчас приходится столько трудиться и столько страдать? Причина очень проста: вы содержите своим трудом бесконечное количество тунеядцев, доставляете все необходимое для их существования и их удовольствий. Если же труд будет распределен между всеми людьми, то с логической необходимостью ваша доля труда сократится. Вы будете жить счастливее, а трудиться меньше.

Это рассуждение представляется Мелье неопровержимым и ясным. После того как он показал, что все баснословные доходы немногих есть забираемый ими чужой труд, остается сделать вывод, что возвращение его трудящимся, да еще возвращение к труду всех праздных, обеспечило бы жизнь «в полном

удовлетворении». Словом, если люди «согласились бы жить сообща, работать мирно и дружно на пользу общую», «если бы они мудро распределяли между собой продукты земли и плоды трудов своих и своего производства», «если каждый помогал бы нести тяжесть труда никто не оставался в праздности», — все могли бы жить вполне обеспеченно.

Такова половина ответа на вопрос. Вторая состоит в положении о безграничной плодородности природы и производительности человеческого труда. Возможно, мысль эту, зажегшую его, Мелье почерпнул у Фенелона. Он два раза ссылается на одну и ту же речь мудрого Ментора к Телемаку: «Природа сама доставит из своего плодородного лона с избытком все, что понадобится для безграничного множества людей умеренных и трудолюбивых».

Говоря точнее, у Мелье есть два наблюдения, две конкретные мысли, на которые он опирается. Во-первых, земля почти всегда, за исключением неурожайных лет, дает больше хлеба и других плодов, чем нужно для сытой жизни возделавшего ее человека и ее семьи. Во-вторых, полезный труд производит больше, чем нужно для достатка самого работника и его семьи.

Эти представления очень важны для Мелье, как возможный корректив к его рассуждению о перераспределении между всеми нынешнего объема и сейчас уже подпирающей небеса горы плодов труда и природы. Мало этого окажется? Гору можно сделать еще громадное. Природа и труд дадут «неисчерпаемое изобилие всех благ».

Не только что люди будут жить лучше и уровень благосостояния всех повысится при отмене частной собственности. Но если захотят, люди смогут жить роскошно. Они смогли бы построить себе превосходные дома, воздвигнуть повсюду дворцы, разбить и насадить прекрасные сады...

Впрочем, Мелье не умел и не хотел смотреть особенно вдаль. Он только с потрясающей силой и честностью ума осмелился видеть то, что у него перед глазами, и мысленно переворачивать это наизнанку.

В заключении «Завещания» Мелье отчеканил несколько заповедей. Одна из них гласит: «Вы будете жалкими и несчастными, вы и ваши потомки, пока вы в ущерб общему благу будете норовить присваивать каждый себе порознь все то, чем следует владеть сообща, и пока вы не пожелаете обратить все в общее достояние в каждом приходе, чтобы всем на общих основаниях пользоваться благами земли и плодами трудов ваших».

Спрашивают: откуда же почерпнул кюре из Этрепины идею

отрицания частной собственности? Где нашел он истоки и подтверждения мысли о возможности жизни «всех сообща» — без частной собственности?

Конечно, Мелье искал поддержки у разных авторов. Как и Томас Мюнцер, он дорожил тем, что мог призвать на помощь Платона и Овидия. Как табориты, анабаптисты, диггеры, как раньше все средневековые секты и ереси со смутными коммунистическими чаяниями, Мелье, конечно, извлек из священной церковной литературы, из «Деяний апостолов» и творений учителей церкви намеки на жизнь раннехристианских общин без деления благ на твое и мое. Однако ему во всем этом интереснее, что жадность, прокрававшаяся в сердца ранних христиан, скоро разрушила эту общность имуществ и восстановила полнейшую рознь между ними.

Что касается авторов-современников, то пытливый взгляд Мелье отыскал крупницы, но поистине только крупницы чего-то вроде возможности отрицания частной собственности у двоих: у Паскаля и Фенелона. Ни тот, ни другой не утописты. В своих раздумьях они лишь скользнули мыслью возле поверхности этого океана чуждых им истин.

У Паскаля Мелье отыскал одну фразу — правда, знаменитую фразу: «Это моя собака; это мое место под солнцем. Так говорили злосчастные сыны человеческие. Вот начало и прообраз узурпации всей земли». По мнению Мелье, эти слова ясно свидетельствуют об отношении Паскаля к первоначальной общности имуществ; «они говорят, что узурпация всей земли и все воследовавшие из этого несчастья произошли только оттого, что каждый отдельный человек возжелал присвоить вещи, которые должен был бы оставить общими». Что касается Фенелона, то в «Странствиях Телемака» Мелье с увлечением вычитал вставной эпизод — идиллическое описание вымышленной страны Бетики, где все блага — общие, плоды труда принадлежат всем, нет ни торговли, ни денег. Несколько строчек против собственности мог разыскать Мелье у Марана.

Ясно, что все эти ссылки — лишь попытки подкрепить мысль, но не ее источники. Что же касается утопий XVI–XVII веков — сочинений англичан Мора и Уинстенли, итальянца Кампанеллы и своего соотечественника Верраса, всяческих модных в XVII и XVIII веках романов-путешествий и описаний неиспорченного быта «добрых дикарей» — ничего этого Мелье просто не читал. Очень далеко от его строя мыслей лежали усилия утопистов расписать до деталей строй и жизнь порожденного их фантазией идеального общества.

Спрашивают: может быть, в таком случае Жан Мелье извлек

идею отмены частной собственности и введения общей собственности из бытовых пережитков французской деревни? Каждая деревня, каждый приход именовались «общиной» и имели то больше, то меньше черточек хозяйственной общности. Разумеется, и этой опоры не упустил глаз Мелье. Но если он и упоминает об этих остатках общинных отношений с сочувствием, то прибавляет: люди уже почти ничем не владеют сообща, если не говорить о монашеских орденах; что касается приходов или общин мирян, то, если у них и есть немного благ в общем владении, это составляет такую малость, что не стоит и говорить об этом, ибо это почти ничего каждому крестьянину не дает.

Спрашивают: ну откуда же в таком случае взял Мелье такую смелую, такую отвлеченную идею, как уничтожение частной собственности?

Мы уже видели откуда: из частной собственности. Да еще из одинаковости стихийного обращения с ней в ходе народных бунтов. Он только обобщил множество разрядов, видов и форм доходов и имуществ в окружавшей жизни. То, что он унаследовал из книг и культуры XVII века, надо видеть не в отдельных мыслях, а в высоком искусстве мысли. У XVII века, века логики, Жан Мелье взял логику. О сложной жизни простого народа он мыслил, как мыслит и астроном, геометр, механик: логично.

У него получилось уже известное нам обобщение. Оно предельно широко, в этом смысле абстрактно, хоть и передано сочными жизненными красками Рабле.

«В самом деле, посмотрим: что происходит от этого распределения благ и богатств земли в частную собственность для использования их порознь, отдельно от других, как каждому вздумается? Происходит то, что любой старается получить их возможно больше всяческими путями, как хорошими, так и дурными; ибо жадность ненасытна и в ней, как известно, корень всех зол. Оттого и получается, что одни имеют больше, другие меньше, а часто одни забирают себе все, остальным не принадлежит ничего. Одни хорошо питаются, отлично одеваются, имеют превосходное помещение, прекрасную обстановку, спокойный ночлег и добротную обувь, а другие плохо питаются, плохо одеты, живут в плохих помещениях, имеют плохой ночлег и плохо обуты; многие не имеют даже угла, где приклонить голову, обречены изнемогать от голода и коченеть от пронизывающего холода. Оттого одни опиваются и объедаются, роскошествуют, другие мрут с голоду. Оттого у одних почти всегда веселье и радость, другие же все! да в печали и трауре. Оттого одни живут в чести и славе, другие в грубом невежестве и презрении. Оттого одним прямо-таки нечего делать, всего и дела у них, что

отдыхать, играть, гулять, спать сколько вздумается, пить и есть всласть да жиреть в приятной праздности, полной неги; другие изнемогают в работе, не имеют отдыха ни днем, ни ночью и кровавым потом обливаются, добывая хлеб свой. Оттого богачи, в случае болезни или какой нужды, получают помощь и уход, любые отрады, утешения, целебные снадобья, какие только доступны человеку, бедняки же покинуты, заброшены, умирают без помощи и лекарств, без утешения в своем горе. Причем часто лишь самое малое расстояние отделяет этот рай от этого ада; подчас лишь ширина улицы или толщина стены...»

Короче, но не менее образно выразил Мелье эту противоположность еще и такими словами — богачи и сильные мира похищают у бедняков лучшую долю плодов их труда — оставляют им лишь мякину от того доброго зерна, лишь подонки от того доброго вина, которые те производят столькими усилиями, стольким трудом

Такова противоположность, так кричит контраст черного и белого. Но мало того, эта противоположность и приковывает одну сторону к другой: такая неравномерность, говорит Мелье, не только несправедлива, но она и ненавистна, потому что «ставит массу простонародья в полнейшую зависимость от знатных и богатых».

Вот что стало с единой субстанцией, трудом и с добываемыми им плодами земли. Субстанция раздвоилась. Все виды доходов, все виды имущества и богатства — это одна и та же субстанция, присвоенная кучкой собственников и противостоящая морю трудящейся и неимущей бедноты. Ближайшей логической целью этого обобщения является у Мелье вывод такой перевернутый вниз головой здравый смысл, такая завершенная и универсальная несправедливость служат доказательством отсутствия христианского бога, — одним из восьми подробных доказательств, составляющих «Завещание» Мелье.

Но отточенное оружие отвлеченной и ясной мысли, которое вольнодумный XVII век вложил в руки сельского кюре, научило не только строить систему доказательств и систему мира. Оно же и атаковало этот мир. «Все перевернуто вверх дном коварством людей, или же бог не есть бог, ибо невероятно, чтобы бог желал терпеть подобное попрание справедливости», — цитирует Мелье некоего мыслителя. Мелье разделяет это утверждение на два. Действительно, раз так, бог не есть бог, проще — его нету. А если все перевернуто вверх дном, естественный разум и естественная справедливость требуют перевернуть все обратно.

Оказывается, доходы тех, кто угнетает и разоряет народ, —

«общественное воровство». Значит, надо положить конец воровству. Напротив, единственный и настоящий «первородный грех» бедных людей — «это их рождение в бедности, в нужде, в зависимости и под тиранией сильных; надо их освободить от этого отвратительного и проклятого греха».

Поистине это звучит голос самого Разума, который либертины неосторожно раскрепостили, как выпустил джинна из бутылки герой известной арабской сказки.

Это та самая неумолимая логика, которой учили Декарт и Паскаль, Арно и Фонтенель. Раз нечто противоречит разуму, оно должно быть приведено в соответствие ему.

Значит, люди обязаны установить новый порядок — порядок общности, порядок коммунизма. «Надо повсюду установить, — настаивает на этой логике Мелье, — законы и правила, сообразные здравому смыслу, справедливости и естественному равенству. Тогда никому не покажется грудным разумно подчиниться этим законам и правилам, так как разум является общим для всех людей, для всех народов и наций на земле. Они, быть может, ничего больше и не хотят, как следовать правилам здравого рассудка и естественной справедливости. Может быть, в этом было бы и единственное средство объединить все умы людей и прекратить между ними все кровавые, жестокие, пагубные раздоры. И это было бы единственным средством, которое доставило бы повсеместно людям неоценимое богатство мира и неисчерпаемое изобилие всех благ. Сделало бы их вполне счастливыми и довольными жизнью».

О коммунизме в XVIII веке можно было думать еще только вот так. Но для своего времени это было здорово!

Глава 7. Против деспотов

Кто и как перевернул вверх ногами естественный порядок жизни людей? Кто и как перевернет его обратно с головы на ноги?

На того, кто осмелился бы выступить против царящих в мире злоупотреблений и извращений, тотчас обрушилась бы грозная волна и снесла бы его. Он бессилен перед ней устоять, говорит Мелье. Точно так же, когда дерзали подняться за справедливость, стряхнуть с себя иго, противиться налогам какая-нибудь провинция, какой-нибудь город, страшная кара настигала их и принуждала стать снова на колени.

Значит, надо обнять умом эту карающую силу. Раз она — защитник царящего устройства, следовательно, она и соучастник его установления некогда раньше. У этой силы целая ярмарка названий, и Мелье примеривает все их, и все они впору: государство, власть, тирания, деспотия, монархия, империя, республика, насилие, политика, правосудие, господство...

Эта могущественная и грозная сила имеет сотни воплощений — от всевластия государя до притеснений, творимых мельчайшим чинушей или мародером-солдатом, до частиц власти, которыми располагали не только аппарат монархии, но и церковники в своих делах и каждый сеньор на своих землях. Все это одно целое, один клубок людей, несправедливо властвующих над себе подобными.

Едины источники и происхождение, говорит Мелье, всех этих гордых титулов и названий: сеньор, государь, король, монарх, властелин; носители их, управляя вами, на деле угнетают вас как тираны. Под предлогом общественного блага они похищают у вас рее самое прекрасное; под предлогом божественного происхождения своей власти они заставляют бояться и слушаться себя как богов.

Таково же происхождение любых должностных лиц: государи не имеют возможности сами справляться со всем и самолично господствовать на обширной территории страны; поэтому, по словам Мелье, они всюду сажают своих чиновников, интендантов, губернаторов и множество других ставленников, щедро оплачиваемых ими из чужого кошелька, дабы те блюли их интересы и поддерживали их власть, дабы никто не мог противиться ей и даже не смел, не рискуя собственной гибелью, гласно высказаться против такого самовластия. Нет другой роли у всех правителей в городах и в деревне, у всех интендантов провинций, кроме как исполнять королевские приказы.

Таково же происхождение, говорит Мелье, всех прочих тщеславных титулов: благородный, дворянин, граф и тому подобное; эти люди, которыми кишит земля, словно хищные волки; под предлогом своих прав и власти они угнетают вас, попирают вас, грабят вас, отнимают у вас самое лучшее

Ну, а суд? Все судьи во Франции, во всех городах от мелких до самых крупных, ведь они не лучше прочих чиновников королевства Их роль ясна — разбирают тяжбы, слепо подчиняются королевским приказам, не дерзая пикнуть

Таковы же, говорит Мелье, все военные — командиры, офицеры, солдаты У них одна задача — поддерживать власть тирана и сурово исполнять его приказы против массы бедного простого народа. Эти люди готовы даже спалить свою собственную родину, если тиран, повелевающий ими, приказал бы им это по своей прихоти или под каким-нибудь пустым предлогом. Они так неразумны, так слепы, что считают за честь и славу целиком — как жалкие рабы — отдавать себя в услужение тирану; во время войны, что ни день, что ни час обязаны они подвергать свою жизнь опасности ради тирана за ничтожную поденную плату.

Что говорить о бесчисленных мельчайших служащих, стражниках и надсмотрщиках, терзающих народ, выполняя любые, даже самые несправедливые, приказы, то описывая и конфискуя имущество, то — еще Гнуснее — отправляя людей в тюрьма, чиня насилие, творя расправу, наказывая людей розгами и каторгой, а подчас даже и позорной казнью.

Все это вместе Мелье называет еще и иначе — «тайная система несправедливости». С помощью силы имущества, с помощью заблуждений и злоупотреблений они сообща устанавливают свою власть так прочно, чтобы держать вас в постоянном плену под гнетом своих тиранических законов. Посредством тайной системы несправедливости князья и сильные мира. Притесняют, разоряют и тиранят вас, якобы для управления вами и поддержания общественного блага! В представлении Мелье, все бесчисленные власти представляют собой действительно систему, они не только одинаковы, но едины и все как в одну точку упираются в верховную власть — власть государя, короля. Перед глазами Мелье, конечно, абсолютистская Франция, но в мысли — все государства мира. На всей земле, говорит он, короли и князья в настоящее время — подлинные тираны Самым жестоким образом тиранят они подчиненные им бедные народы, обременяют их гнетущими законами и обязанностями, позволяют себе все, что заблагорассудится Государь и тиран — это, по Мелье, одно и то же

«Однако, несмотря на то, что большинство государей и королей представляют собой в настоящее время лишь гордых и надменных тиранов, а большинство народов является лишь бедными, несчастными рабами под их тираническим игом, никто не решится перечить им, или хоть осуждать их открыто, или порицать их поведение. Напротив, тысячи подлых, низких льстецов, чтобы подслужиться и занять более видное положение, угождают им во всем и стараются даже представить их пороки в виде добродетелей».

О политике Мелье пишет как-то особенно, другими словами, другой палитрой. Сама ненависть здесь имеет у него другой оттенок, другой привкус, другие звуки. Эту ненависть верно назвать гневом. Мелье не изошрен в политике. Насколько близко знает он тяжелую ношу крестьянина и вечные сумерки деревенской жизни, насколько он посвящен в церковные премудрости и святую галиматью, настолько далеко-далеко от него двор и придворные, министры и политика. Но гнев стал его телескопом. Сколько ясного смысла и отчетливого представления! Тут-то, в области политики, Мелье, видимо, не только много прочитал, но и сберег нужнейшие книги. Если не говорить о древней истории, не видно, чтобы Мелье много изучал политическую жизнь разных государств, но политику Франции, французский абсолютизм XVII века он знает. И по лаконичности, отжатости, обнаженности знания очевидно, что оно отсеяно из целой тучи политической пыли. Мелье отлично различает главные контуры и внутренние пружины политики Ришелье, Мазарини, Людовика XIV. Это они — его вергилии в преисподней абсолютизма.

Временами он сдерживает гнев. Временами же гнев взрывается бичующим красноречием. «Никто не пролил столько крови, не был виновником убийства столько людей, не заставлял вдов и сирот пролить столько слез, не разорил, не опустошил столько городов и провинций, как последний король Людовик XIV, прозванный Великим, — конечно, не за какие-нибудь великие и похвальные деяния, он вовсе не совершил ничего достойного этого имени, а за великие несправедливости, великие хищения, великие захваты, великие опустошения, великое разорение и избиение людей, которые по его вине происходили повсюду». Черная злоба, святая злоба!

Как скальпелем старается Мелье расчленить все резоны тирании — ее показательные оправдания, ее скрытые задачи.

И Ришелье и другие политики заверяют, что короли руководствуются единственной целью — общим благом, общественным благом. Мелье нетрудно сорвать эту фальшь. Он,

между прочим, легко ловит на противоречии самого Ришелье, неосторожно заявлявшего, что благосостояние располагает народ к мятежам и поэтому народ надо содержать в бедности, если хотят, чтобы он оставался покорным и не стал предпринимать чего-нибудь против властей. Какое уж там общественное благо!

Другой резон, приводимый в оправдание неограниченной власти королей, — это их внешние войны. Многие страницы «Завещания» посвящены ужасам и несправедливости войн. Когда короли, пишет Мелье, вздумают расширять границы своих королевств или своих империй и воевать со своими соседями, чтобы захватить их государства или их провинции под пустыми предложениями, какие взбредут им в голову, и их армиям удастся проникнуть во вражескую страну, они дотла разоряют и опустошают все земли, все предают огню и мечу. Это обычные результаты жестокости всех государей и королей, а в особенности, замечает Мелье, последних королей Франции. Бесчестно разрывая договоры и подчиняя соседние страны, Франция, как видно, мчится на всех парусах к превращению во всемирную монархию. Разве это может оправдать тиранию? Ведь эти войны — разбой. Но, мало того, всякая затеянная королем новая война ведется за счет жизни и достояния его подданных, бедного простого народа.

Попутно заметим, что историческая обстановка, в которой жил Мелье, не навела его даже на мысль, что войны могут быть и оборонительными и что это в особенности могло бы быть использовано идеологами абсолютизма, чтобы в глазах народа создать резон всевластью государя. Об этом — ни строчки.

Но, так или иначе, публичные резоны лживы, а фактом является лишь то, что никто, по мнению Мелье, не зашел так далеко в утверждении своей абсолютной власти и не сделал подвластное население таким бедным, рабским, жалким, как последние короли Франции,

Может быть, основанием власти тиранов служит история — наследственные права, права завоевателей, учредителей империй? Мелье отважно бросается в море истории. В особенности много нужных аргументов он нашел у Марана. Если мы рассмотрим происхождение знати и королевской власти, проследим родословную государей и властителей и дойдем до самых начал, то мы обнаружим, что предки тех, которые так много трубят о своей знатности и чванятся ею, были люди кровожадные и жестокие, что это были коварные предатели, нарушители общественного закона, воры, отцеубийцы; одним словом, наиболее древняя знать была сплошь вопиющим злодейством, сочетанием власти и нечестия. Вот что закрепили

наследственные права. А то, что называют завоеванием, это, в сущности, самый настоящий разбой. Что представляли собой Ассирийская, Персидская, Македонская и Римская монархии, как не бандитские империи, государства авантюристов и пиратов, у которых единственно сила служила оправданием разбоев? И вот откуда пытаются выводить якобы законные и древние устои современной тирании!

Задумаемся на минуту над этими страстными разоблачениями. Понять ли их так, что Мелье выводит историческое возникновение государственной власти из чисто моральной категории злодейства? Или из чистого насилия, разбоя? Что касается первого, то как бы Мелье ни клеймил злодеяния древней и современной знати, злодеяния всех ее пособников и прихлебателей, в общем-то, по ходу его мысли, не стоять злодейству в качестве причины дурных общественных порядков.

Откуда, вообще говоря, берутся порочные и злые люди? Для Мелье это вовсе не извечное свойство части рода людского и не причина, а как раз результат определенного строя общества. Сами дурные законы и дурное управление, говорит он, уже рождают многих людей порочными и злыми, потому что дают им расти среди роскоши и суетности, знатности и богатства, которые потом эти люди и желают навсегда удержать за собой так же несправедливо, как несправедливо они в них родились и воспитались. Что касается остальных, то те же законы и порядки, можно сказать, толкают их к порочной и дурной жизни, ибо заставляют их рождаться в бедности и нужде, от которых эти люди затем всячески стараются избавиться, в том числе и дурными путями, так как не в силах выпутаться путями справедливыми и законными.

Что касается насилия и разбоя, то не видно, чтобы Мелье в самом деле строил вокруг этого какое-то обобщение. Под его пером это не более как бичующее отрицание моральных качеств, которые по монархической традиции полагалось умиленно приписывать основателям династий и великим завоевателям.

Признаться, нечего и искать у мудреца Мелье исторической точки зрения. У него нет неверного взгляда на происхождение государства, потому что нет никакого. Все научное мышление и XVII и XVIII веков еще строило свои здания, обходясь без идеи развития, разве что у Бюффона пробилось представление об историческом изменении земной коры. В общем идеи развития и у либертинов и у просветителей было не больше, чем до них в богословии. Историю они любили, но как бег на месте, как рябь случайностей и характеров.

У Мелье проступает в зачатке такая логическая структура для охвата судеб человечества: нынешний несправедливый строй отношений между людьми не мог существовать вечно, значит ему предшествовало что-то, что хоть отдаленно сходно с предстоящим справедливым строем. До Мелье такой схемы во Франции, кажется, еще не высказывалось. Век Просвещения в дальнейшем зиждется на ней: это идея восстановления или очищения от людских злоупотреблений естественного права, иными словами, природных основ человека. Однако, по правде сказать, и это еще недалеко от логики богословия: потерянный и возвращенный рай. Но ни малейшего иного историзма у Мелье не заметно. Истоки и резоны тирании, деспотической власти людей над людьми интересуют его не в прошлой, а в нынешней жизни.

Ее подлинный резон состоит в том, что без этой неодолимой силы одни никак не могли бы грабить других. Одни, кто не трудится, не могли бы жить за счет других, кто трудится. Без насилия и притеснения, всюду восходящего к безграничному всевластию короля, простонародье не дало бы бесконечно превращать свой достаток в богатства тунеядцев. При этом тирания не только помогает другим грабить, но и сама для себя тоже грабит почище других: снова, снова, снова Мелье с ужасом и злобой рассказывает о нестерпимой гнусности королевских налогов.

И вообще ярость — помощник его познания тирании. Тут обобщение и отрицание идут об руку.

Но кто же накажет тех, кто наказывает? С каким-то прорвавшимся стенанием, данью иллюзиям своих предшественников, Мелье вдруг взывает: где эти древние императоры, о которых рассказывают, что они предпочитали погибнуть от меча, чем стать тиранами, спасти жизнь одному подданному, нежели истребить тысячу врагов? А раз их не видеть, где Бруты и Кассии, где благородные убийцы Калигулы и других древних тиранов? Где бывшие убийцы французских королей — Жаки Клеманы и Равальяки? Где бессмертные тираноубийцы прошлого? Зачем не живут они в наши дни, чтобы разить и закалывать кинжалами всех этих омерзительных чудовищ, извергов человеческого рода и избавить таким способом массы народные от их тиранов!

Но все это красноречие не всерьез. Это только для запевки. Мелье далеко ушел от французских тираноборцев XVI века, которые так думали. Он-то знает, что уничтожить верховного тирана — это вовсе не уничтожить тиранию: она не только нисходит, как роса, от венценосца к его слугам, но в равной мере, если не больше, как пар, восходит от них снизу вверх и лишь

сгущается к тронам стараниями льстецов, усилиями тех, кто ищет в законах короля прикрытия своим злодеяниям.

Дело уже не в тиране, а в системе тирании. Это Голиаф, это Левиафан. Мелье объясняет, почему сам он не станет ни Брутом, ни Равальяком. Я желал бы иметь мышцы и силу Геркулеса, говорит он, и с удовольствием убил бы всех этих гидр заблуждений и несправедливости, причиняющих столько страданий всем народам мира! Он готов бы один взять на себя свершение революции, да еще мировой революции. Но у него нет таких мышц.

И стенание Мелье звучит уже по-другому. Как жаль, что нет в живых тех храбрых писателей и смелых ораторов, которые в своих писаниях и речах клеймили пороки деспотов, дурное управление! Как жаль, что нет их в наши дни, чтобы гласно, публично сделать деспотов предметом ненависти и презрения всего света и в конце концов поднять все народы на то, чтобы стряхнуть с себя невыносимое иго их владычества! Но, увы, продолжает Мелье не без тайной мысли о себе, их не видно более, этих великих самоотверженных душ, обрекавших себя на смерть ради спасения отечества и предпочитавших благородную смерть тяготившей их своей подлостью жизни. К стыду нашего века, — нет, поправляет Мелье, наших последних веков, — на свете видишь только подлых и жалких рабов непомерного могущества и всевластия тиранов.

Значит, надо суметь призвать народ к низвержению власти общим усилием, помочь ему правдивым словом и умным советом. Один древний автор, по словам Мелье, говорил, что как раз тиран реже всего доживает до старости: люди не поддавались подлости и не давали тиранам слишком долго царствовать. А вот в наше время, продолжает Мелье, не редкость видеть, что тираны живут и царствуют очень подолгу (Мелье имеет в виду Людовика XIV, процарствовавшего семьдесят два года). Люди незаметно свыкались с рабством, объясняет он вслед за Ла Боэси, теперь они так сжились с ним, что даже почти не думают вернуть себе свободу. Им кажется, что рабство есть естественное состояние. Поэтому гордыня тиранов все растет. Деспотический гнет все более и более усиливается.

Надо будить людей! Мелье хотел бы, говорит он, иметь силу голоса, чтоб его слышали по всей Франции, даже по всей земле, и кричать во всю силу: люди, вы — безумцы! Он открыл бы им эту тайную систему несправедливости, которая повсюду делает их жалкими и несчастными, которая в грядущих веках будет стыдом и позором для их дней. «Вы будете оставаться жалкими и несчастными, вы и ваши потомки, пока будете терпеть господство

властителей и королей!» — такова одна из выбитых им для людей заповедей.

Вот гремящий голос революционной пропаганды Мелье: «Постарайтесь объединиться, сколько вас есть, вы и вам подобные, чтобы окончательно стряхнуть с себя иго тиранического господства ваших властителей и королей. Ниспровергните повсюду эти троны несправедливости и нечестия, разmozжите все эти коронованные головы, сбейте гордость и спесь со всех ваших деспотов и уже не допускайте, чтоб когда-либо они царствовали над вами».

Кто писал что-нибудь подобное во Франции до Марата?

Мелье задолго до Марата почти безжалостен к народу, он бичует его за нерешительность, за то, что все еще нет, так долго нет этой рвущей цепи рабства революции угнетенных масс. Он не прощает им, что они «трусливо оставляют тиранов так долго в живых, что они не смеют в полный голос возмущаться своим королем или его министрами». Что у них «нет мужества объединиться и стряхнуть с себя общими усилиями тираническое иго». Он поучает их: «Никакая ненависть, никакое отвращение не чрезмерны по отношению к людям, которые являются виновниками стольких зол и повсеместно давят других».

Таково полыхающее знамя «Завещания». Оно насквозь напоено революционным гимном, будущим топотом миллионов ног, песней миллионов глоток призванного восстать народа. Вольтер не в шутку назвал это сочинение «слишком бунтовщическим». Вольтер — насмешник, либертин, приятель монархов. Мелье — революционный демократ.

У теории грядущей народной революций Жана Мелье два источника.

Главный источник — опыт восстаний крестьянства и городской бедноты, их борьбы с властями и войсками, местными и централизованными, с администрацией и правительством. Но наличный опыт французов показывал все-таки лишь разрозненные и лишь побежденные мятежные пробы

Вот на этот раз Мелье действительно помогает опыт всемирной истории. Правда, ни разу в своем произведении он не ссылается на самую близкую по времени из великих революций — на Английскую революцию XVII века. Может быть, потому, что в его глазах она относится к потерпевшим поражение? Или по той же неведомой нам причине, по которой мы не находим у него ни слова и ни намек на английскую философию XVII века, казалось бы столь ему полезную и подчас близкую? Но с полной смелостью он. Предлагает следовать примеру двух других великих восстаний целых народов, приведших к победе. Учитесь у

голландцев, призывает он, которые так героически стряхнули с себя невыносимое иго тирании испанцев в лице герцога Альбы. Посмотрите на швейцарцев, которые тоже героически стряхнули с себя тиранию жестокого правления ставленников австрийских герцогов в своей стране. У вас, французы, не меньше основания сделать то же в отношении своих властителей и государей и всех тех, кто вами правит и тиранит вас их именем и властью!

Наконец додумать идею революции опять-таки помогла Мелье не раз заглядывавшая и в эту бездну хоть одним глазом вольная мысль XVII века.

Вот, например, цитируемое Мелье обобщение и предвидение, принадлежащие любимому им автору книги «Дух Мазарини». Описывая отчаянное положение Французского королевства, этот автор весьма вольно предостерегал Людовика XIV: пусть он не начинает новых войн, пусть не тиранит более свой бедный народ, пусть предоставит всем почетную свободу, — «иначе придется ожидать великих революций в его королевстве» Особенно притесняемое, нищее, презираемое сословие во Франции, как показывает этот автор, — крестьяне; «эти притеснения заставляют их желать революции в способе управления, в надежде, что их положение станет лучше».

Если мысль об опасности революции отдаленно маячит уже в «Политическом завещании» Ришелье, то щедрый комментарий к ней Мелье нашел в другой своей любимой книге — «Благо Европы в 1694 году». Полагая, что Ришелье намеревался перестроить Французскую монархию по образцу Оттоманской, как самой устойчивой и не перестававшей расширяться, автор замечал, что, с другой стороны, Ришелье и опасался, как бы не получились «слишком опасные крайности, могущие привести к революции». И эти слова процитировал внимательный Мелье. Как отбивают косу, каждый удар чужой мысли оттачивал его собственную.

Но, пожалуй, больше всего мыслей, близких своим и по этому вопросу, он повстречал все у того же глубоко ему чуждого архиепископа Камбрэйского Фенелона. В личине мудрого Ментора тот провез дофина в образе Телемака по многим вымышленным странам выдуманной древности. Главная задача этого путешествия — показать дофину все вообразимые обстоятельства, приводящие к крушению государств, в утере государями своих престолов Долг воспитателя наследника французского престола Фенелон видел в том, чтоб со всей откровенностью рассказать ему об искусстве политики. Все случаи падения государств, которые довелось наблюдать Телемаку во время странствий и которые комментировал ему неотлучный Ментор, в самом конечном счете сводятся к тому, что

государей свергают подданные.

Льстецы вроде Ришелье говорят королям: «Если вы сделаете население вполне довольным, оно перестанет работать, зазнается, потеряет покорность и будет всегда готово поднять восстание, только нищета и слабость делают людей податливыми». На это Ментор отвечает, какая дикая политика! Источником мятежей являются честолюбие вельмож, обилие больших и малых паразитов, жестокосердие и надменность королей, неспособных уследить за назревaniem смут. Вот, говорит Ментор, причины отчаяния притесняемых народов, причины их восстаний, а вовсе не то, что вы позволите земледельцам мирно есть хлеб свой, добытый в поте лица. Когда народ отягощен невыносимыми вымогательствами жадных и гордых правителей, всегда можно опасаться восстания.

Кстати, для полного контраста Фенелону и потребовалось придумать примеры таких счастливых стран, где правителям нечего было бы трепетать перед революцией, так как у народа нет ни малейших причин для недовольства — Саленту и Бетику. Чистое логическое упражнение родило социальную утопию как альтернативу свержения власти. Мелье внимательно вчитался и в то и в другое.

Но собственная мысль Мелье рвется дальше неустрашимо и прямолинейно. Почему же нет народной революции? Почему еще не свергает она тиранов? Что мешает?

Непосредственное, ближайшее, ужаснейшее препятствие Мелье указывает на первых же страницах «Завещания» и опять, опять до самых последних страниц обдумывает, разбирает, старается убрать его. Это разобщенность народа, раскол его, распри, взаимное недоверие. А условие победы — во что бы то ни стало выступить всем сообща. Например, так дружно и так единодушно, как некогда швейцарцы или голландцы.

«Вас губит в этих случаях то, — объясняет Мелье простому люду Франции, — что вы друг друга обессиливаете, выступая друг против друга в таких обстоятельствах, в каких швейцарцы и голландцы действовали сообща. Вы разобщены, вместо того чтобы, как они, бороться дружно за одно дело».

Эта мысль о единении и сплочении народа как первом условии революции глубоко овладела умом Мелье. Он, видимо, много ее обдумывал. Это он должен во что бы то ни стало объяснить и внушить своим посмертным слушателям и читателям. Если у вас мужественное сердце и если вы желаете освободиться от своих зол, то страхните с себя окончательно иго тех, кто вас угнетает! По дружному соглашению страхните с себя иго тирании и суеверия! С общего согласия отвергните всех

тиранов, попов, монахов! Ваше освобождение будет зависеть только от вас, если вы сумеете все столковаться друг с другом. Ведь подумайте, есть у вас и средства и силы, чтобы освободиться и, если захотите, самих своих тиранов превратить в рабов. Ибо ваши тираны, хоть кажутся могущественными и страшными, не могут иметь власти над вами без вас самих: все их величие, богатство, могущество, все их силы — только от вас. Ваши дети, родственники, товарищи и друзья служат им и в армии и в гражданских должностях. Что могли бы тираны сделать без них, следовательно, без вас? Они пользуются вашими собственными силами против вас самих, чтобы всех, сколько вас есть, сделать своими рабами. Руками одних они уничтожают других, когда город или провинция пробуют стряхнуть их иго. Но тираны были бы быстро сметены, если бы все провинции, все города, весь народ сговорились между собой и пришли к единодушию в желании освободиться от рабства. Объединись же, народ, если есть у тебя здравый ум! Объединитесь все, если есть у вас мужество освободиться от своих общих страданий!

Приметим попутно, что и тут снова одна субстанция, но как бы разорвавшаяся и противостоящая сама себе: у власти, обращенной против подданных, нет иной силы, кроме силы самих подданных. Следовательно, она опирается на их раскол.

Что же разобщает, разъединяет народ? Все, все от специальных уловок правителей до самих условий жизни, основанной на частной собственности. Мелье исследует эти приемы и эти причины.

Вот, например, споры, вот, например, смуты и рознь в любом приходе по поводу раскладки всяческих поборов. Мелье говорит о вещах, близко ему знакомых: люди ссорятся, враждуют, спорят, каждый жалуется, что чрезмерно обложен сравнительно с соседом, который, мол, богаче его, а платить будет, пожалуй, меньше его. И когда они так осыпают друг друга тысячей упреков и проклятий, им не приходит в голову объединиться и общими усилиями пойти против короля и его министров, стряхнуть их иго. Ведь здесь и лежит источник их смут и взаимной вражды. Но они скорее готовы передушить друг друга.

Частная собственность породила не только столкновения всех личных интересов, но и весь строй жизни, разобщающий людей. В будущих коммунах, говорит Мелье, все дети получали бы одинаковое воспитание, поэтому легко было бы заставить их хотеть одного и тою же добра, сделать их всех способными с пользой служить своему отечеству. Это было бы очень благотворно для общества. Тогда они смогут беззаветно и единодушно стремиться к общему благу. Но это будет после

революции. А сейчас разнородное воспитание, образование и образ жизни вызывают в людях чувство отчуждения; создают различия в характерах, мнениях, настроениях. Соответственно люди не могут мирно ужиться, между ними раздоры, не могут они единодушно стремиться к общему благу.

Столько подчинения и зависимости между людьми, столько зависти и коварства даже среди самых близких родственников, что один не может положиться на другого. Кажется, что невозможно что бы то ни было. Предпринять, не подвергаясь опасности быть кем-нибудь преданным, открытым. В таком чреватом последствиями деле, как попытка добиться преобразования столь дурного правительства, не безопасно довериться даже другу, даже брату

И в этих словах Мелье как будто слышится отголосок его личного опыта. Пробовал ли он открыться? Искал ли кому довериться? Иными словами, пытался ли начать хоть с малого, или возносил свой голос лишь в целом к огромному, отвлеченному народу?

А это относится и к теории раз народ разобщен интересами и частными целями, что же, безнадежно ждать его сплочения против деспотов? Нет, конечно, Мелье лишь обнажил препятствия, но это не все. Бесконечно трудно было, может быть, даже труднее всего было пробиваться мысли этого сына крестьян и пастыря крестьян к тому, что мы теперь называем «организация».

На некоторых страницах «Завещания» сквозит эта мысль — полускрытая мечта об образовании сначала некоего «союза» из тех, кто уже частично видит заблуждения и злоупотребления, кому нужно лишь немного добавить просвещения, чтобы глаза их вполне открылись. «Но еще больше, — продолжает Мелье, — нуждаются они в том, чтобы им пособили, особенно в крепком союзе, особенно в тесном взаимопонимании между собой по поводу освобождения от тиранической власти сильных мира сего. И к этому крепкому союзу, основанному на взаимопонимании, надо будет их призывать». Как же достигнуть взаимопонимания? Сегодня мы назвали бы это нелегальной, подпольной устной и письменной пропагандой: «Начните с тайного сообщения друг другу своих мнений и требований. Распространяйте повсюду с наивозможной ловкостью писания вроде, например, вот этого...» Мелье имеет в виду свое сочинение. Я написал его, говорит он в другом месте, дабы помочь вам, «если вы готовы войти в соглашение друг с другом».

Вот так, снизу будет крепнуть и шириться соглашение, союз. Мелье призывает: поддерживайте друг друга в этом справедливом

и необходимом деле, которое касается общего интереса всего народа! Конкретнее же о путях организации и пропаганды, вероятно, не знал и сам Мелье. А если и знал, писать об этом, хотя и намеком, значило бы предать других. Вспомним, что даже того из соседних кюре, в руки которого должен был попасть третий экземпляр рукописи «Завещания», Мелье обозначил лишь буквой «Д», да и направил его не прямо, а в город Мезьер, пользовавшемуся его доверием господину Леру, который, может быть, один только и знал, кто такой «Д»; со слов Леру ныне мы можем, по-видимому, восстановить, что это был кюре Делаво из деревни Бальзикур; последнему, то есть кюре «Д», приложенное письмо, в свою очередь, препоручает ознакомить с «Завещанием» других собратьев...

Представлял ли Мелье себе революцию как дело одних бедняков деревни и города, как восстание низов против всех прочих без изъятия?

Он не был стратегом и тактиком революции. Она была еще в дымке. Да такая, как мечталось Мелье, и вообще не могла свершиться. Крестьянская масса, хотя бы и сопутствуемая городским плебейством, не открывает новую главу истории. Но Мелье размышлял о том, как уменьшить круг ее противников, более того, как увеличить круг ее союзников.

Отважные и неожиданные взгляды высказал он по этому поводу в предсмертном письме. Оно адресовано грамотным читателям — низшему духовенству, низшему судейству. Нельзя ли привлечь на сторону народа этот обширнейший слой людей? Мелье видит, что они равно могут быть и очень вредны и очень полезны в революции.

Этого союзника надо поставить лицом к лицу перед грядущей революцией, даже напугать ею. Мелье так и начинает: посмотрите, как возросла тирания наших королей и до какой степени она усилилась со времен правления Карла VII, когда она уже, по словам Коммина, вызывала жалость к народу, и до наших дней. А если это будет продолжаться? Народу нечем будет поддерживать жалкое существование, и он, наконец, будет вынужден восстать. Он станет действовать как действуют побежденные, которые находят спасение только в отчаянии — в этом последнем прибежище несчастных.

Дальше следует своеобразное утешение: низшему духовенству, мелким сельским попам при этом не так высоко и не так больно будет падать, как большой знати. Вы, господа, успокаивает их Мелье, не должны опасаться этой неприятности, ибо когда произойдет указанная перемена, то ваше падение, если и произойдет, то не с большой высоты и потому вовсе не будет

таким сильным, как падение тех господ, о которых я выше говорил и которые изрядно расшибутся.

Мелье пылко убеждает этот средний слой принять сторону народа. «Если можете, господа, — втолковывает он им, — доставьте эту радость народу, ведь люди из народа — это не только ваша паства, они ведь к тому же ваши родные и близкие, они ваши союзники и друзья, они ваши соотечественники и кормильцы».

Понимая, что этих аргументов недостаточно, Мелье приводит и более прозаические. Если, противодействуя революции, придется падать, хоть и невысоко, то, содействуя ей, можно занять при новом строе весьма неплохое место: служить учителями и воспитателями.

«Во всех республиках (заметим: будущий строй — республиканский!) и во всех хорошо устроенных общинах всегда нужны разумные и просвещенные люди для обучения других естественным наукам и для полного искоренения заблуждений и суеверий». Иначе говоря, стоит захотеть, и вы будете очень пригодны для честной полезной работы при новом строе.

С тем же обращается Мелье и к другой прослойке: «Господа судьи и другие государственные служащие также не должны нисколько противодействовать ниспровержению заблуждений, наоборот, они должны охотно принять в нем участие; они сами должны быть рады освободиться, как и другие, от ига тиранического господства сильных мира сего».

Мелье понимает, что этим господам претит самая мысль об участии в вооруженном мятеже, и тут он подносит им самый неожиданный довод: вам и не пришлось бы для этого взяться за оружие. Имеет ли Мелье в виду победу народа без вооруженной борьбы, если на его сторону станет весь низший государственный и церковный аппарат, или он только предлагает этим союзникам своеобразную привилегию в будущей революции, облегчающую им решение? Он ограничивается словами, что эти союзники больше сделают мирным путем, при помощи своих друзей, советов и ученых трудов, чем достигли бы насильственно посредством оружия.

Словом, Мелье зовет эти слои «решительно принять сторону народа». Он пламенно убеждает тогдашнюю интеллигенцию помочь народу совершить его великое дело:

«Присоединяйтесь же к нему, чтобы освободить его и освободить себя самих от всякого рабства. Доставьте ему эту радость, это наибольшее благо, какое вы могли бы когда-либо оказать ему».

Но главную силу, главный пафос, фасад своей проповеди

революции Ателье обращает, конечно, к основному герою драмы — к народу. Вот еще отрывки со скрижали заповедей Жана Мелье: «Вы будете оставаться жалкими и несчастными, вы и ваши потомки, пока не достигнете единодушия и не выступите смело за избавление от рабства, в котором вы все пребываете». «Вы будете вечно жалкими и несчастными, вы и ваши потомки, пока будете терпеть господство тиранов над собой». Да не будет другой веры, — взывает Мелье, — кроме сохранения мира и доброго согласия среди вас, кроме стремления охранить народную свободу, кроме решимости окончательно уничтожить тиранов.

Если вы умны, твердит он, отложите прочь все чувства ненависти и личной вражды, а обратите ненависть, обратите весь гнев свой против общих врагов — этих надменных знатных деспотов, что делают вас жалкими и не дают вам пользоваться лучшими плодами трудов ваших. Объединитесь все в единодушной решимости освободиться от этого ненавистного и омерзительного ярма!

Откроем, наконец, и последнюю страницу «Завещания». С нее звучат все те же раскаты львиного зова. К ним только прибавляется тут нота предсмертного прощания. Разумные люди, влиятельные ученые, писатели, красноречивые ораторы после него разовьют и разберут эту тему, пишет Мелье. «Они сделают это несравненно лучше меня. Ревность к справедливости и истине, ревность к общественному благу и всеобщему освобождению стонущего под ярмом народа должна побудить их к этому. Они обязаны беспрестанно изобличать, осуждать, преследовать и сокрушать все возмутительные заблуждения и все возмутительные тирании, о которых я говорил, пока не сметут и уничтожат полностью их все. Да погибнут все злодеи, да погибнут все тираны, да будут они посрамлены в своей гордыне!»

Вот как оно звучит — фортиссимо финального аккорда. И только, отщепившись от него, протягивается еще немного дальше одинокий, стынувший, затихающий звук: это сделают другие, а обо мне теперь пусть говорят что угодно, мертвые не принимают участия в том, что происходит в мире, — они ничто...

Анархистские издательства и сочинителя давно уже, едва откопав Мелье, как вурдалаки, вцепились в него. Широко пошла басня о Мелье как предтече анархизма.

Поэтому задержимся еще на минуту и уточним, как же представлял себе Мелье дело революции. Сметет, стряхнет она нынешние власти, и все? Нет, мысль Мелье не могла остановиться на этом рубеже, ибо ведь сама революция была в его глазах лишь средством установления нового строя жизни — без частной собственности, угнетения. Именно потому, что он не склонен что-

либо отвлеченное предлагать в качестве рецептов этому будущему строю, не склонен вообще хоть слегка оторваться от жизненной обыкновенности, от лиц, одежд и чуть ли не колокольного звона Этрепины и других подобных приходов, Мелье не склонен и к такой мыслительной акробатике, как жизнь без управления, для которой он не видел даже малого семени в окружающей действительности.

Несчетное число раз, нередко мимоходом, Мелье упоминает и о мудрых людях, которые будут руководить в общине справедливым распределением труда и плодов, и о честных, противоположных тирании, правительствах, которые не на словах, а на деле будут руководствоваться только и исключительно благом народа. «Низвергните, — пишет, например, Мелье, — всех гордых и высокомерных тиранов с их трона и посадите на их место добросовестных, кротких, умных и дальновидных правителей, чтобы они управляли вами мягко и поддерживали для вашего счастья мир и справедливость в вашей среде».

В самом деле, ведь в глазах Мелье не тирания причина общественного строя, основанного на частной собственности и на противоположности богатства и труда, а наоборот. Значит, с устранением этого противоестественного строя нет логических оснований предвидеть превращение служащих народу правителей в деспотов, попирающих его.

Мелье и не думал разрабатывать вопросы: кто и как будет выбирать и эти правительства и организаторов жизни общины. Ему достаточно сказать, что управители будут выдвигаться из числа людей способных и отправлять правосудие и неусыпно блюсти общественное достояние, спокойствие, мир и в то же время из числа таких, которым люди захотят повиноваться — добросовестно и безоговорочно. Для хорошего управления не нужны непомерное чванство и напыщенная спесь властелинов и королей. Добросовестные управители, пишет Мелье, способны без всего этого управлять народами, они могут установить хорошие законы и издать хорошие правила. «Более умные, — пишет Мелье, — должны управлять другими, они должны установить добрые законы и издавать распоряжения, направленные всегда, — во всяком случае, сообразно условиям времени, места и обстоятельствам, — к преуспеянию и соблюдению общественного блага».

Единственная деталь, которую счел нужным предусмотреть Мелье в вопросе о выборе будущих управителей и руководителей народа, — возраст. Ссылаясь на ветхозаветного Иова, Мелье заявляет, что мудрость и предусмотрительность приобретаются

лишь по истечении долгого времени. Стало быть, говорит Мелье, для мудрого управления народами ставить надо не только людей не порочных и не злых, но лиц пожилых, преисполненных мудрости и предусмотрительности, а не безумных юнцов, безрассудных молокососов и гордецов, тем более уж не малых детей, каких посылает сейчас на трон случайность рождения.

Но это все же частность. Важно рассеять вздорную легенду, будто Мелье мыслил революцию не иначе, как в форме уничтожения всякой власти. Он был за ту власть, к которой ведет революция: за власть людей, поставленных народом и служащих народу.

Глава 8. Против богов

Жан Мелье не был бы сыном века логики, века могучих устремлений к ясности мыслимых систем, если бы так и оставил противоречие: раз показано, что народ не может совершить революцию, что он для этого слишком расколот снизу и сверху, то почему же думать, что он, наоборот, может совершить революцию? Либо может, либо не может. Напомним: историзм при этом исключается. Решение должно быть дано; оно должно отвечать законам логики и наблюдаемым фактам.

Миллионы французов с первого своего дня до последнего знали лишь музыку шумящего леса, свистящего ветра, иногда грома или волн, и всегда — ударов колокола, разносящихся далеко, зовущих к молитве, а то и возглашающих бедствие — пожар, мятеж, нашествие. Они знали еще редкую музыку своего праздничного веселья и всегдашнюю музыку молитвы в церкви.

Вся архитектура, какую ведал народ: лачуги, декорированные изредка резьбой, обычно гнилой соломой и мохом на крышах, зовущие в небо островерхие церковки, да, может быть, в дымке на горизонте таинственные очертания готического храма. Изобразительное искусство: каменные и деревянные, изукрашенные или простые фигуры обнаженного Христа и облаченных до пят святых, затейливые в узких нишах витражи, изредка «гаргулии» — водостоки на церкви в виде причудливых уродин и чудищ Представления? Да, пожалуй, можно говорить и о предоставлениях: служащий мессу или говорящий проповедь священник одет так искусственно и искусно, волнение скамей — так безыскусственно; Мелье весьма выразительно высмеивает весь этот спектакль.

Искусство почти исчерпывалось религией; религия была искусством.

В это изощренное создание феодальных веков был вплетен человек. Противоречивая вязь его жизни, состоявшей наполовину из грязи и пота, наполовину из образов причудливой фантазии, почти призрачная из-за этого, находилась словно на половине дороги между двумя куда более определенными бытиями: между раем и так реалистически изображаемым, словно это делали вернувшиеся оттуда странники, адом. В церковных изображениях, книгах, проповедях мучения и ужасы ада, его огонь и смрад, боль и истязания были много нагляднее, чем сцены рая. Поэтому, пожалуй, неверно, что человек находился на половине дороги — он был сдвинут гораздо больше в сторону ада. До рая было бесконечно далеко, не меньше, чем до неба, а в аду он уже чуть

ли не находился одной ногой.

Этот лис, этот величайший вольнодумец, Вольтер, этот прославленный ненавистник католической «гадины», однако «дрожащий от ужаса», читая Мелье, как-то обрушился в письме на Гельвеция за слишком широкую пропаганду атеизма: «попробуйте управлять хотя бы одной деревней, жители которой были бы атеистами». Для управления простонародьем в особенности нужен страх ада, много раз объяснял милый насмешник, — страх виселицы, но и страх ада.

Жан Мелье знал лучше Вольтера, что это такое. До палача было далеко, стражники и солдаты бывали отнюдь не частыми гостями в Этрепиньи и Балэв. А вот он был там всегда. Почти неотлучно. Он-то знал, что без него, без попа, без угрозы ада деревня и в самом деле была бы все равно что и без узды. Но он знал и гораздо больше, чем это. Он разглядел совсем вблизи, что узда-то как раз мешает людям совершить то разумное и доброе, что без нее они сделали бы вполне естественно. Страх загробного наказания делает людей не лучше, а хуже — вот мастерский удар, которым Мелье парирует все ожидаемые атаки противников в сутанах и без сутан.

Мнимо мудрые политики века, говорит Мелье, не преминут найти, что с моей стороны нехорошо было вскрывать столь великие и важные истины, которые, по их мнению, лучше всегда держать под спудом, а ни в коем случае не выставлять так ярко напоказ. Они заявят, предвидит Мелье, что избавить людей от страха перед вечными муками, перед карающим богом — это значит потворствовать злодеям и доставить им одно лишь удовольствие. Раз выяснится, что нечего бояться наказания по окончании этой жизни, то многие воспользуются этим и, дав полную волю своим необузданным вожделениям, из плохих станут еще худшими и гораздо смелее будут совершать всякие злодеяния. Вот почему мудрые политики считают необходимым, чтобы народ верил многим ложным вещам и остался в неведении относительно многих истин.

Свое возражение Мелье делит на две части. Что касается настоящих злодеев, а именно тиранов, богачей и всех сильных мира сего, то, говорит Мелье, страх перед богом или богами, как и страх мнимых наказаний ада за пределами этой жизни, несколько не пугает их, не мешает им следовать своим дурным наклонностям. Поэтому нет большой опасности, если они будут избавлены от этого пустого страха, лишь бы внушить им страх перед действительными карами правосудия; такой страх произведет куда более сильное впечатление на их ум, нежели страх перед богами и боязнь их мнимого ада. Что же касается

простонародья, то пороки и зло в нем усиливаются как раз невежеством, отсутствием образования, отсутствием хороших законов и хороших правительств. Получив все это и познав естественные истины, в том числе истину об отсутствии бога и ада, масса простого народа станет не хуже, а лучше.

Таков выход из логической трудности. Народ не может совершать революцию, потому что он расколот. Но расколот он не только проистекающими из 'частной собственности имущественными интересами, не только различиями в воспитании, характере и уме, словом, не только своими спорами и раздорами. Мелье открыл иной источник его слабости: тонкие и хитрые политики, говорит он, используют все религии мира, чтобы держать с их помощью людей в узде и помыкать невежественной массой простого народа.

Ныне, в XX веке, это не ново, во времена Мелье это было громадным открытием! Система сразу оказывается цельной и завершенной.

Тунеядцы присваивают труд и имущество народа; народ не может сбросить тунеядцев, потому что их защищают тираны; народ не может сбросить тиранов, потому что их охраняет суеверие.

Религия логически венчает пирамиду. И она же самое близкое, самое непосредственное, что стоит на пути человека. Ведь это даже ближе, чем протянуть руку, — это повязка на глазах.

Выходит, осилить религию — значит взять первую линию укреплений, за которой падут и следующие. Вольтер потому и противился последовательному и полному ниспровержению религии. Мелье потому и стремился к нему. Разгромить религию — значит развязать неминуемую революцию.

Отсюда с необходимостью вытекает, что главная задача Мелье состояла в поединке с этим великаном. Мелье чувствовал себя готовым к поединку. Он постиг все хитросплетения и тонкости христианского вероучения. Бой был подготовлен унаследованной им мыслью великих зачинателей — раскрепостителей ума от цепей веры, философов-либертинов.

«Завещание» Жана Мелье по строению и содержанию своему и есть не что иное, как обширный трактат о религии. Все остальное как бы включено и вписано в эту тему.

Всю свою жизнь Мелье вращался в среде духовенства. Он знал все тайны оружия и тактики.

На единственном портрете Мелье перед нами в сутане, с белым полотняным воротником, в круглой шапочке. Да, он был членом «первого сословия». Но согласно изустным рассказам о

нем, собранным в 1783 году, Мелье в своих проповедях предпочитал обороты: «Христиане говорят, христиане утверждают, христиане верят...» Записавший это священник из деревни Мазерни полагал, что такой манерой выражаться Мелье как бы закрывал рукой половину лица, дабы менее видна была его насмешливая улыбка, дабы не поняли всей его злоумышленности.

Тот же составитель раздраженной характеристики Мелье на основе сплетен и молвы описывает Мелье как человека, которому опротивела жизнь, который стал гадким из-за принуждения себя внешне жить в духе своего сословия, будучи раздираемым кризисом своего сознания. Человек «странный и неотесанный», «с большим мозгом и испорченным сердцем».

Так мстило духовенство тому, кто с исчерпывающей полнотой разоблачил его тайны и покусился на весь его хлеб.

«Завещание» Мелье состоит из восьми доказательств отсутствия бога, ложности религии.

Мелье берется за труд доказать читателям с той ясностью, какая только возможна в любой отрасли знания, что всякое поклонение богам, как и все законы и повеления, издаваемые именем бога и богов, имеют не божественное происхождение, а созданы людьми. Хитрые политики это выдумали, лжепророки и шарлатаны обработали, невежды слепо приняли, наконец государи и сильные мира сего, иначе говоря, опять же политики, использовали это, чтобы легче держать в узде народ. На деле, обращается Мелье к читателям, все, что толкуют вам о прелестях и вечном блаженстве рая, об ужасных муках ада, — пустые басни. После смерти мы не можем ни надеяться на хорошее, ни опасаться плохого. Успокойтесь же умом и сердцем и избавьтесь от этих страхов. Пока вы живы, живите хорошо, пользуйтесь радостно дарами жизни и плодами своих трудов. Бессмысленно подчинять свою жизнь тому, что будет после смерти, так как смерть пресекает жизнь, сознание и всякое чувство добра и зла.

Первое же доказательство тщеты и ложности религий поражает своей высокой логической силой.

Мелье в нем наименее независим от предшественников, оно подготовлено Монтенем, Бодэном и многими другими, но он заново распахнул его каким-то своим собственным, особенным, молодым жестом.

Религий было и есть на земле множество. Смотрите, ваша христианская религия окружена множеством других у разных народов в древности и сейчас (аргумент, который поистине мог ярко вспыхнуть не раньше XVI века). Христиане считают все другие религии языческими, свою — истинной. Каждая религия

считает себя единственно истинной, а всякую другую — заблуждением, обманом, иллюзией и надувательством. Ни одна не смогла переубедить другие неоспоримыми доводами, хотя они уже столько веков спорят и даже преследуют друг друга огнем и мечом. Значит, нет ясного и убедительного свидетельства религиозной истины. Значит, истинно то, что каждая из них говорит о всех остальных: все религии — не больше, чем измышления человека, и полны заблуждений, иллюзий, обмана. Ясно, что ни одна не имеет божественного происхождения, не установлена богом.

Это доказательство с помощью «языческих религий» просто и величественно. Мелье щедро листает страницы древней истории. Сколько законодателей, уверявших, что они исполняют волю богов. Сколько римских императоров, объявленных богами!

Вот, кстати, и один из источников появления веры в богов: тщеславие и дерзновенное безумие тех, кто называл себя богами. Другой источник — вера в то, что люди могут становиться богами после смерти. Подчас удрученные трудами люди перед лицом своей бедности и немощи поклонялись предметам, в которых они больше всего нуждались. Подчас поклонялись из страха болезням, из благодарности — благодетелям, из непонимания — животным, явлениям природы. Прекрасные творения художников и ваятелей вызывали преклонение слабых и темных люден, которым легко было внушить, что статуя есть бог, и так родилось идолопоклонство.

Все это клонит лишь к одному: религии рождались от людей, а не от богов. Никакое божество не показывалось всенародно людям, а все божества прибегали для сообщения своей воли людям к такому явно противоречащему их мудрости, такому ненадежному и подозрительному способу, как келейные откровения тому или иному отдельному человеку. Но вот психологией людей действительно объясняется происхождение богов. Тут два истока. С одной стороны, неисчерпаемое многообразие, тонкость и хитрость игры тех обманщиков, которые рассчитывают удовлетворить интересы честолюбцев, лицемеров, льстецов и знают, что невежественный народ не в состоянии сам разобраться в этих иллюзиях. С другой стороны, самому народу свойственно жадное любопытство и поразительное легкоеверие ко всему, что необычайно, неведомо.

Второе доказательство. Оно, как и все последующие, тоже оформлено в виде строго логической теоремы с приложением комментариев и вспомогательных доказательств. Это удивительно напоминает манеру, впервые примененную в философии Спинозой: подражание геометрии, с подразделением

всей мысли на теоремы, доказательства, схолии, леммы.

Суть теоремы состоит в том, что все религии основаны не на принципах знания, а на противоположных им принципах, следовательно все религии, включая христианскую, основаны на заблуждении, иллюзии и обмане. А это, по определению, исключает их божественное происхождение. В самом деле, все религии, к примеру христианская, в своих таинствах, вероучениях и морали строятся на том, что называется верой. Вера есть твердая и непоколебимая уверенность. Она должна быть слепой и перестала бы быть самой собой, если бы доискивалась надежных и убедительных доказательств, если бы опиралась на свидетельства наших чувств и на человеческие рассуждения. Голос веры исключает голос разума и опыта. Вера по необходимости тем самым является источником расколов среди людей, разум — их объединения. Всякая вера требует ненависти к другой вере. Но этого требования никак нельзя ожидать от бога, предполагаемого всемогущим, всеблагим и премудрым. Следовательно, из существования вер с очевидностью вытекает отсутствие бога. Что и требовалось доказать.

Следует огромный комментарий.

Религия поклонников Христа, признавая, что их вера слепа, одновременно ссылается на якобы надежные и убедительные свидетельства в пользу того, что она изошла от бога. Хотя доказывать то, что, по определению, должно быть слепо принято без доказательств, противоречиво, приходится рассмотреть эти мнимые свидетельства: особую чистоту и святость христианства; самоотверженность и святость первых распространителей христианства; древние предсказания о будущем появлении христианства; множество чудес, совершенных пророками, Христом, апостолами и святыми. Но нет ни одной религии, показывает Мелье, которая не выдвигала этих четырех пунктов в свою пользу.

Особенно велик развертываемый Мелье свиток всяческих чудес. Чудеса христианской религии при сравнительном рассмотрении оказываются не надежнее того, что называют лжечудесами; впрочем, в самих евангелиях содержится предупреждение о том, что явятся лжепророки, которые будут творить знамения и чудеса: тут уж сами поклонники Христа признают, что чудеса вовсе не являются доказательными свидетельствами истинной веры.

К тому же почему бы считать, что описанные в Ветхом и Новом завете чудеса в самом деле происходили? Оказывается, свидетельством чудес в пользу христианства надо доверять лишь потому, что предлагается слепо верить этим книгам. Но Мелье,

опираясь, очевидно, на исследователя евангелий Фрере и других предшественников, развертывает блестящую для своего времени историческую критику евангелий — авторства, подлинности, мнимой неизменности на протяжении веков, роли переписчиков и редакторов. Мелье подчеркивает, как много других сходных сочинений было некогда по случайным причинам отброшено. У включенных в христианский канон нет никакой иной достоверности, кроме того, что религия же и поддерживает их и обязывает безусловно им верить.

В библии Мелье усматривает множество таких же сказок и басен, какие в изобилии можно найти во всяких мифах. Одни басни Эзопа, по его мнению, более остроумны и назидательны, чем басни евангелий.

Еще раз бросаясь на штурм евангелий, Мелье составил изумительный каталог противоречий между ними. Это целый трактат. Последующие критики христианства без устали использовали этот подобранный им ассортимент противоречий.

Вывод гласил: эти книги не только не носят на себе никакой печати божества, но и не отмечены также печатью особенной человеческой мудрости.

В связи с тем же вопросом о чудесах Мелье дает следующее дополнительное рассуждение: если существует бог, то он творец в равной мере всех людей и всех народов. А между тем сообщаемые в библии знамения и чудеса говорят о необъяснимом отвержении им большинства народов.

Что касается самих чудес, то не странно ли, что бог проявлял через них свое всемогущество предпочтительно в мелочах? Он пекся о благе людей не в главном, не в высшем, а в случайном. Еще ироничнее повествует Мелье о чудесных деяниях, описываемых в житиях святых. Он касается и чудотворных предметов, и мощей, и тысячи невероятностей, наполняющих христианское предание.

И вдруг неожиданное историко-филологическое открытие. Да ведь если проследить генезис стиля, перед нами уходящий в языческую древность литературный прием: «эти мнимые чудеса сочинены лишь в подражание басням и фантазиям языческих поэтов». Мелье снова мобилизует бездну своих знаний. И непорочному зачатию и множеству других христианских чудес он подыскивает ошеломляющие читателя параллели из античной мифологии.

И еще одно дополнение большой логической силы. Формально оно обслуживает все ту же тему о чудесах, фактически куда шире ее. Мелье вдруг вырывает из всего нагромождения несурязиц христианства как-то ослепительно бросившееся ему в

глаза основное противоречие этой веры. Христос по избытку любви своей и беспредельной благодати к людям пожелал стать человеком, чтобы полностью примирить их с богом, отцом своим. Цель отца и сына состояла в том, чтобы освободить мир от греха, чтобы спасти всех людей, погубивших себя в пороках и грехе. Между тем, говорит Мелье, ведь не видно никакого результата, никакого реального проявления этого провозглашенного искупления людей. Не видно никакого признака, что грех снят с мира. Наоборот, по всему видно, что грех скорее даже умножился. Все хуже и хуже живет христианский мир. Все больше людей идет по пути в ад, чем по пути в рай, если бы, конечно, на самом деле были ад и рай. С великолепной логикой Мелье показывает несуразность всех малых чудес, приписываемых Христу, рядом с этим великим его бессилием.

Но все это лишь вспомогательные части второго доказательства. Ни чудеса, ни что-либо иное не может служить свидетельством божественности христианства, как и любой веры. Это, полагает Мелье, доказано с достаточной и несомненной ясностью.

Прекрасное, геометрически стройное здание поднимается выше.

Третье доказательство — опровержение и разоблачение всех тех видов прямого контакта верующих с божеством, о которых рассказывается в Ветхом завете.

Мелье находит четыре категории этих прямых сношений. Явления человеку самого бога или его голоса. Союз бога с избранным народом, выражающийся в обряде обрезания. Жертвоприношения. Обещания, которые бог надавал библейским патриархам.

Безжалостно обнажив, насколько все это противоречит основным свойствам, приписываемым богу, Мелье подробнее останавливается на жертвоприношениях. Это очень древние варварские обычаи, полагает он. Мелье говорит не только о принесении в жертву богам животных. Известны ему и человеческие жертвоприношения на древнем Востоке, а в недавнем прошлом у жителей Перу и Мексики. Отсюда — один шаг до предания об Аврааме, приносящем сына в жертву, а далее — и до безумного обряда хриstopоклонников, «полагающих, что они доставляют высшую честь и высшее удовольствие своему богу-отцу, каждодневно предлагая и принося ему в жертву не более и не менее как его собственного божественного сына в память его смерти на кресте».

Все это остро разоблачительное третье доказательство заключается перечнем обещаний, данных лично богом

патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, которые так и остались никогда не выполненными.

Четвертое доказательство посвящено обширнейшему опровержению особого качества, приписываемого пророкам, «божьим человекам»: качества предвидения, иначе говоря, прозрения, предвосхищения будущего, качества предсказания. Оно как бы отражает вневременную природу бога. Мелье находит, что многое в этой области можно объяснить психологией людей. В этом он следует за Монтенем. Он не боится предположить, что в большинстве своем пророки и «божьи человеки» — больные, психопаты. Он рисует их как людей, подверженных галлюцинациям, говоривших в аффекте. Ну, а другие — это обманщики, прикидывавшиеся пророками.

Однако главное в том: исполнялись ли пророчества?

Сама библия приписала богу слова: предавайте смерти пророка, который станет говорить от моего имени то, чего я ему не повелел; если пророк скажет что-нибудь от моего имени и сказанное не сбудется, будете знать по этому признаку, что не господь говорил, а говорил тот пророк по дерзости и заносчивости.

Опираясь на это, Мелье взялся показать, что в таком случае все святые пророки, а также и Христос, являются в действительности только лжепророками. В общем-то ведь ничего не сбылось!

Следует обвинительный акт гигантской протяженности. Слово в слово приводит Мелье сначала из Ветхого завета все то, что там напроорочествовали, и сверяет с тем, что на деле впоследствии произошло. И до бесконечности много раз, еще и еще повторяет он один и тот же рефрен: «Все эти прекрасные и велеречивые обещания и пророчества оказываются явно ложными».

Затем он переходит к Новому завету. И вот второй, столь же долгий список невыполненных обетований и предсказаний. Снова много, много крат тот же рефрен. Это способно буквально раздавить своей громадой, от которой некуда деваться. И итог: «Из всех мнимых пророчеств, видений, откровений и обещаний нет ни единого, которое не оказалось безусловно ложным, пустым и даже смешным и нелепым».

Обзор несбывшихся посулов приводит нас, наконец, и к несбывшимся обещаниям самого Христа. Пожалуй, это самая сокрушительная часть. Камня на камне не остается от евангельской постройки. Мелье насчитал шестнадцать этих ложных обещаний, обманувших надежды.

Из них первый же пункт возвращает к главному

противоречию христианства. «Сказано, что Христос избавит свой народ от его грехов, а между тем ни в каком народе не видно какого-либо признака этого мнимого избавления. Христиане не в меньшей мере находятся теперь во власти порока, чем это могло быть до их мнимого избавления и до прихода их мнимого избавителя и спасителя».

Этому сокрушительному, разящему удару по христианству Мелье уделил самое пристальное внимание. Он разобрал все, что ему могли бы возразить.

Среди остальных пятнадцати пунктов заметим только, что в четвертом и девятом пунктах Мелье приводит слова Христа, касающиеся приближения часа второго пришествия, воскрешения из мертвых, царства божия. Этот час, говорит Мелье, должен был наступить еще в древности. Однако все еще не видно этого часа. Мало того, нет никакого признака, что он должен наступить в скором времени или вообще когда-либо.

Но, исчислив все несбывшиеся библейские прозрения и обещания, Мелье стоит перед новым вражеским валом: церковники давно укрылись от удара, утверждая, что чуть ли не все в священном писании надо понимать не прямо, а иносказательно; они называют это аллегорическим, духовным и мистическим смыслом, или же, шутит Мелье, когда им заблагорассудится, «аналогическим» и «тропологическим» смыслом. Число этих предлагаемых толкований безгранично, Мелье знаком с ними. Опять целый водопад примеров. Он знал схоластику! Но поэтому не трудно было ему и показать, что все эти духовные и аллегорические значения зависят только от фантазии толкователей. Стоит им только выдумать тот или другой символический смысл, чтобы любое несбывшееся обещание или пророчество оказалось спасенным. Тут уж невозможно спорить, признает Мелье, но этот прием недопустим, ибо он перекраивает, извращает и попросту уничтожает эти обещания и пророчества. Эдак можно придать новый таинственный смысл не только любой другой религии, но даже речам и приключениям Дон-Кихота Ламанчского.

«Перейдем к пятому доказательству; я выведу его из ложности их учения», — с такими словами Мелье вторгается, можно сказать, в самый алтарь. Речь пойдет о главных догматах христианского вероучения. Теорема гласит, что религия, которая допускает и одобряет в своих догматах и морали заблуждения, не может исходить от бога. Между тем перед лицом здравого разума и простой естественной справедливости христианство учит и обязывает верить вещам, им противоположным, оскорбляющим как людской разум, так и доброе людское устройство.

Так, вполне сознательно христианское учение о троице противопоставлено логике. Оно как бы испытывает силу веры, требуя примирения с бессмыслицей. То же — определение сущности бога. То же — учение о взаимоотношениях бога-отца, сына и святого духа, о воплощении сына в человека. То же — о непосредственном присутствии Христа в кусочках теста и вине в момент причащения, что делает христиан «народом, бессмысленно поедающим своего бога». Столь же логически неприемлемы, нелепы и смешны басни о сотворении человека и о том, что бог, представляемый как существо неизменное, совершеннейшее и мудрейшее, был оскорблен и разгневан «первородным грехом» Адама и Евы, что он вопреки своим определениям оказался во власти чувства и в гневе продолжает наказывать род людской за грехи, которым он не препятствует, которые и не могут беспокоить его, если он всеведущ и всемогущ.

Удивительно внятно, ощутимо показал Мелье иррациональность всего, чем насыщено христианство. Читая у него эти долгие страницы, всякий чувствовал: либо мыслить и рассуждать, либо верить и молиться, — нельзя делать то и другое. Сила этого впечатления огромна, неодолима. Мелье не воюет с христианством, он трудолюбиво, рачительно, хозяйственно показывает: христианство все целиком, во всех своих привычных нам с детства частях и обрядах, стоит за забором — там, за плетнем, огораживающим разум. Оно сплошь бессмысленно. Мелье цитирует броские слова Монтеня: «Для христиан натолкнуться на нечто невероятное является поводом для веры; это невероятное приобретает для них тем большее религиозное значение, чем больше оно противоречит человеческому разуму». В этих словах — суть всей борьбы Мелье.

Мелье вылепил тут и образ Христа, неслыханный, противоположный всему, что когда-либо до него делало искусство и знание. Христос представлен как лицо безусловно историческое. Но мобилизован весь реализм для его отталкивающего портрета. Собрано все, что может характеризовать человека в его противоположности богу. Поистине сложный труд — выжать из евангелия все, какие возможно, черты для снижения образа. Сорвать малейший след ореола. Внушить одно чувство: брезгливость и презрение. Мелье обнажил фигуру юродивого бродячего пророка, с расстроенными умственными способностями, одержимого своим спутанным воображением, манией преследования и величия. Получается почти клиническая картина. Каждое слово его — жалко и бессодержательно. Это бормотание безумца.

Самое впечатляющее и даже страшное состоит в том, что

Мелье подряд на протяжении многих страниц монтирует подлинные евангельские тексты проповедей и изречений Христа. Образ сумасброда, произносящего бессвязные и противоречащие друг другу слова, этот запечатлевшийся в древних книгах и целиком принадлежащий варварской древности отталкивающий нечистый персонаж надвигается на читателя с такой настойчивой грубой силой, что трудно не верить.

С гадливостью отбрасывает Мелье, опираясь на показания современников, и идеализированное представление о древней секте христиан — приверженцев Христа. В его шарже нет ни грана историзма. Он страстно жаждет лишь одного — очищения ума своих читателей от веками внушенной неправды. Во что бы то ни стало.

Еще несколько беглых разящих ударов — на этот раз по устоям христианской морали. В том числе по ханжескому осуждению любовных влечений, вложенных в человека самой природой. Главные удары направлены против идеализации христианством страданий и скорби, против требования прощать и любить врагов своих. Это противно природе, уничтожает ее, это заблуждение и безумие — постоянно терпеть, стойко всю жизнь претерпевать скорби и страдания, чтобы этим стяжать себе воображаемые блага и вечные награды после смерти!

Орлиный взгляд Мелье сразу видит тут общественную суть дела: внушать народным массам, говорит он, это терпеливое ожидание царства небесного — значит злоупотреблять наивностью и轻信ием масс. Как, любить своих врагов, не мстить за обиды, не противиться даже злым, позволять себя грабить, когда у нас хотят отнять наше добро, не возмущаясь переносить обиды и дурное обращение! Нет! Мелье проповедует противоположную мораль, отвечающую естественному праву, здравому разуму, правде и справедливости. Давать отпор злу и ненавидеть его. Защищаться. Охранять свое тело, жизнь и достоинство. Строго мстить.

Эта мораль Мелье, иначе говоря, мораль народной революции, противоположна христианской морали. Последняя, по словам Мелье, способствует угнетению добрых и слабых злыми. Эти правила, говорит он, явно вредны для действительного общественного блага. Честные люди не могут следовать этим правилам, предоставляя злым делать все что угодно, грабить, обижать, рвать на части людей. Да ведь это же низвержение всякого порядка и справедливости! Низвержение, вредное для честных людей, для государства и для хорошего управления. Низвержение должно быть низвергнуто! Зло должно встретить, наконец, ненависть, отпор и наказание.

С шестым доказательством мы познакомились выше — это царящие среди людей вопиющее неравенство, тунеядство одних за счет труда других, строй частной собственности, тираническая власть. Религия, которая терпит, одобряет и поощряет все это во вред массе простого народа, гласит доказываемая тут теорема, не может быть установленной богом, так как противоречит определению бога.

И вот седьмое доказательство, с ним мы вступаем в величавый и строгий чертог, в цитадель интеллектуальной силы Мелье — в философию. Здесь он едет битву с самим богом — с убеждением, что есть верховное существо, всемогущее, бесконечно благое, бесконечно мудрое и бесконечно совершенное, которое желает, чтобы люди ему поклонялись и служили известным способом. Мелье берется опровергнуть это убеждение доводами, заимствованными из метафизики (философии), физики и морали. «Это будет моим седьмым очевидным доказательством пустоты и ложности всех религий в мире».

Заходит он издалека. Большой список древних и Современных мудрецов, сомневавшихся в существовании богов. Симптомы распространенности тайного атеизма — вовсе уж не такого страшного, чудовищного и противоестественного мировоззрения, как говорят. Гипотеза, что все древние божества были поначалу какими-либо высокопоставленными мужчинами и женщинами, которые либо сами дерзнули принять имя бога, чтобы внушить к себе больше страха и уважения, либо получили его от других по их страху, невежеству и угодливости. Противоречивость многобожия, слишком бросающаяся в глаза и, наконец, приведшая к вере в единого бога, впрочем, не лучше обоснованной, чем вера в богов.

Нуждается ли природа для своего понимания или даже для восхищения ею в представлении о каком-то боге, который ее создал?

Здесь, в этой философской части совокупного здания, сам голос Мелье как-то понемногу меняется. Голос словно крепнет. В этих упражнениях высшей трудности особенно бросается в глаза профессиональная ученая уместность, сноровка отвлеченной философской мысли. Ничего ученического. В каждой строке чувствуется, с каким правом мог Мелье помышлять о кресле академика.

Читателей XVIII века, наверное, больше всего в творении Мелье должно было поражать, что сельский кюре находится на таких высотах философской и научной мысли. Вспомним изумленный ответ Вольтера на сообщение Тирио: «Как,

священник, француз — и подобен Локку?» Вскоре крупнейшие умы Франции подвергли новую звезду придирчивому изучению. Мелье выдержал все экзамены. Да, он оказался подобен... почему, собственно, Локку? Это был великий мыслитель, ученый и учитель. Его работа для своего времени безукоризненна во всех отношениях. Локк был видным философом, но он вовсе не эталон, чтобы мерить Мелье. Из великих мыслителей при всем несхождении ему ближе всего Спиноза. Родствен Декарт. Не зря упоминает он и Ванини.

Совершенство и красота природы, — разве доказывают они, что ее кто-либо создал? В таком случае, парирует Мелье, совершенство и красота, приписываемые богу, доказывают, что и его кто-то создал? Бессмыслица! Мир природы не подразумевает никакого мастера, кроме самой природы, которая и создает все, что только можно в нем увидеть самого прекрасного и дивного. Бытие видимого и наблюдаемого мира куда реальнее, нежели бытие существа лишь воображаемого, которого никогда нигде не найдешь не увидишь.

Но, может быть, мир природы таков, что обязательно надо мыслить его сотворение, его создание кем-то другим? Вот основной вопрос, который дальше и исследует Мелье. Надо ли предполагать сотворение природы богом? Есть ли нечто предшествующее бытию материи? Возможно ли творение из ничего?

Надо выбирать между двумя мысленными системами: системой сотворения мира и системой естественного образования мира той же самой материей, из которой он составлен. Одинаковы ли логические трудности на стороне обеих этих систем, спрашивает Мелье, или трудности первой значительно больше, чем второй?

Теория сотворения требует доказательств, что это вечное первоначальное бытие, именуемое богом, отличается от материи, а материя не может быть вечной не может сама собой быть тем, что она есть. Это неразрешимо трудно. И, напротив, говорит Мелье, признавая одну материю за первопричину, за вечное ни от чего не зависимое бытие, можно избежать этих непреодолимых трудностей: «все образовалось и разместилось само собой в том виде, в каком оно находится», — если только допустить, что всемирная материя существовала вечно и сама по себе.

Что материя существует, говорит Мелье, что она не плод воображения и фантазии, в этом можно убедиться воочию. Точно так же воочию можно убедиться, что материя обладает делимостью и движением. е достаточно ли этого, чтобы считать материю бытием в целом, нельзя ли вывести из этого все вещи

природы? Мировая материя, пишет Мелье, движется различных направлениях и путем сочетаний своих частей она может изо дня в день принимать тысячу различных форм. А это, говорит он, ясно оказывает, что все существующее в природе может издаваться естественными законами движения и путем сочетания, комбинации и видоизменения частей материи.

Это только первые шаги рассуждения. В дальнейшем Мелье постепенно вскрывает различные свойства и определения материи.

Так, она воспринимается с помощью чувств. Если определить бытие как материальное и чувственно воспринимаемое, то это достаточно для определения сущности природы неба и земли, всего, что они в себе заключают, или когда-либо заключали, или будут заключать, или могут заключать.

Материя протяженна. Но Мелье не согласен с Декартом и его последователями (картезианцами), которые отождествляли материю и протяженность; по-видимому, он предпочитает мнение Спинозы, что протяженность — одно из неисчислимых свойств материи.

Однако учение о материи для Мелье вовсе не самоцель. Все это вещи либо достаточно очевидные для здравого разума, либо относящиеся уже не к философии, а к разным естественным и гуманитарным наукам. Разработка материалистической философии для Мелье лишь вспомогательная задача, лишь средство доказательства ненужности, ложности другого хода мысли, ибо этот другой ход мысли, религия, стоит как величайшая помеха на пути народной революции. Уходя с головой в свои безупречные отвлеченные доказательства в пользу материализма, Мелье продолжает служить народной революции, служить своей святой ненависти к притеснителям трудящихся бедняков.

Материальное бытие не могло быть создано бытием нематериальным и божественным. Мелье изящно и неотразимо приводит к абсурду претензии богословия на то, что сила или воля бога делает вещи возможными или невозможными. Материя — самопричина; ничто в природе не может быть мыслимо как беспричинное, то есть сотворенное из ничего.

Время и пространство не могли быть сотворены: у них нет начала, они бесконечны; этому спору Мелье уделил очень много внимания.

Но естественно, что самым центром его рассуждений стал вопрос о движении. Что заставляет материю и каждую ее частицу двигаться? Необходимо ли представление о начальном первом толчке? Мелье признается, что не все в проблеме движения

можно объяснить, но он ясно доказывает бесполезность и в этом случае гипотезы о боге и необходимость признать, что бытие, то есть материя, может получать движение только от самого себя.

Движение представляется при этом как механическое движение, как перемещение мельчайших частиц материи — атомов. Иногда это движение по прямой, иногда по дуге или окружности, что образует вихри материи, формирование шарообразных тел, сложных тел. Но только в этом механическом смысле понимает Мелье движение, как, впрочем, и все материалисты XVIII века.

Однако он старается охватить этой мыслью и все, даже наисложнейшие, формы движения. Так, по его мнению, существует несомненная связь между колебаниями волокон нашего мозга, беспрестанным движением находящихся там жизненных токов, с одной стороны, и нашими мыслями, с другой стороны.

Мелье выдвигает в развитие своих аргументов против существования бога множество биологических, физиологических представлений, стоящих вполне на уровне его века. То же будут усиленно практиковать и его преемники — материалисты-просветители, особенно Ламеттри. Это очень важно подчеркнуть: сам уровень науки делал знание о многих процессах природы уже настолько конкретным, что исключал прежние представления о боге.

Животные и люди, размышляет Мелье, оказались бы лишенными самодвижения, если признать, что кто-то извне придал им движение. Они не имели бы в себе начал ни роста, ни производительности, ни распада. Мало того, существо, придающее им движение, должно было бы в совершенстве знать устройство всех этих больших и малых удивительных механизмов во вселенной и обладать способностью ловко, сильно, тонко, проницательно, тщательно подбирать, приспособлять, соединять, располагать и связывать каждую часть материи, чтобы получились законченные тела, каждое согласно своей природе. В таком случае «не должно быть ни одного атома, который не получил бы все свое движение и всех видоизменений этого движения от существа, в совершенстве знающего его природу и на что он может служить. А это в некотором роде все равно, что предполагать столько богов, сколько существует атомов в материи, или предполагать, что каждый атом материи уже есть бог или содержит в себе всю природу и всю субстанцию бога. А так как всех этих атомов, составляющих самые малые части материи, бесконечное множество, то, значит, существует бесконечное множество богов, причем все эти боги тем не менее

составляют одно целое и являются все вместе одним и тем же богом».

Вот образец того, как воинствующий материализм Мелье осыпает градом ударов противника, валит его с ног, топчет его.

Мелье произвел поистине исчерпывающий разгром всех сторон богословия своего времени.

Бог — бесконечно совершенное существо, всемогущее и вездесущее. Но чем выше чьи-либо совершенства, тем они, как, например, свет или тепло, явственнее и ощутительнее, — бога же нельзя ни видеть, ни ощущать. Следовательно, этого бесконечно совершенного существа нет. Невозможно также созерцать его духовно, в форме любви к нему, ибо о нем нет никаких представлений. Следовательно, и небесное блаженство духовного обладания богом после смерти является во всех отношениях противоречивой выдумкой.

Если бы действительно было божество, требующее от людей определенного поклонения и культа, то оно и потребовало бы этого со всей ясностью. Между тем по главным пунктам веры и культа люди никак не могут согласиться между собой. Тут Мелье с охотой возвращается к вопросу о множественности религий в мире, включая мусульманство, буддизм, конфуцианство.

С великолепной силой разбивает Мелье доводы богословия, будто для того бог и делает несовершенными творения этого мира, чтобы через их несовершенство в конце концов постигалось совершенство его самого. «Что сказали бы вы о государе или монархе, который позволил бы опустошить свои владения или владения своих соседей, чтобы обнаружить дотом силу своего могущества? Что сказали бы вы о враче, который напустил бы заразные заболевания, чтобы показать свое умение лечить их? Что сказали бы вы о судье, который провоцировал бы преступления и затем предавал строгой каре совершивших их, чтобы явить этим свое правосудие?»

Огромное приложение, или, если угодно, небольшой дополнительный трактат, Мелье посвятил обзору ошибочного и истинного в философии Декарта и его последователей-картезианцев. Этот малый трактат — творение высокого мастерства. Безупречно доказана нелогичность той уступки, которую делает Декарт богословию, усматривая нечто сверхъестественное, божественное в способности нашего ума мыслить бесконечность. Но великолепно схвачена и передана ценность его материалистической, атомистической картины мира. Эти страницы, как бы по второму заходу, вводят читателя в поразительную для начала XVIII века по стройности и законченности материалистическую систему Мелье.

В сущности, почти целиком на триумфальной полемике с философией Декарта (отчасти и Фенелона) построено последнее, восьмое доказательство, венчающее труд Мелье. Это опровержение всех выдвигавшихся философами соображений в пользу нематериальности и тем самым бессмертности человеческой души.

И в самом деле, душа как особая субстанция, многие свойства которой, в особенности высшие мыслительные свойства, казалось, не могут быть научно объяснены, стала последним прибежищем религии даже в полуматериалистической философии XVII века.

Непоследовательность, компромиссность вольномыслия ни в чем так ясно не проявились, как в сохранении для бога этого убежища — духовной, необъяснимой, бессмертной души. Таков неисправимый грех картезианства. Бог спрятался в скорлупу души, но из этой крепости заново навис над всем миром — неустранимое, несократимое потустороннее начало.

Но против духа примирения либертинов восстал дух непримиримости Мелье. В этом великий исторический смысл «Завещания». В своем восьмом доказательстве Мелье одним ударом меча рассек последнее прибежище божества.

Невозможно составить себе никакого представления о душе, рассуждает Мелье, если наперед решить, что ей нельзя приписать никаких отчетливых свойств. Легче вообразить себе химеру! Картезианцы напрасно обольщаются, будто они нашли ясное различие двух видов бытия: свойство одного — простирается в длину, ширину и глубину, то есть иметь протяженность; свойство другого — лишь мыслить и чувствовать. Верно, разит их Мелье, что мысль и чувство не бывают круглыми или квадратными, но ведь и такое неоспоримое свойство материи, как движение, тоже не бывает круглым или квадратным. Мало того, уже хохочет Мелье, к примеру, жизнь и смерть, красота и уродство, сила и слабость, здоровье и болезнь тоже не являются вещами, протяженными в длину, ширину и глубину. Выходит, вовсе не все модификации материи должны иметь геометрическую форму и измерения; не все модификации материи могут обладать всеми свойствами материи.

Не выдерживает логической критики и умозаключение, что раз душа не протяженна, не имеет расчленимых частей, значит она не может разрушиться и перестать существовать, иными словами, что она пребывает всегда в одном и том же состоянии — бессмертна. Мелье парирует это удивительно просто (хотя кто знает, скольких лет раздумий стоила эта простота). Ведь душа способна, как всякому видно, к различным переменам, превратностям. Следовательно, нечто в ней на наших глазах

разрушается. Следовательно, она не может быть бессмертной.

Мелье сотни и сотни раз подчеркивает, что он не знает, да, может быть, наука и не может узнать весь физиологический механизм мысли и чувства. Иначе в его время и нельзя было сказать. Но в общем, как и Декарт в отношении животных, так он и в отношении человека предлагает рефлекторную точку зрения: малейшие предметы, говорит он, вызывая сильные движения в тонких волокнах мозга (сегодня мы сказали бы — в клетках), необходимо вызывают сильные чувства в душе; известное регулирование грубости или утонченности токов в мозгу (сегодня мы сказали бы — возбуждения и торможения, но Мелье говорит «животных духов») и их подвижности при помощи волокон мозга, естественно, определяет силу или слабость духовных явлений.

Довольно понятно, что вслед за тем Мелье, желая быть вполне последовательным, набросился на метафизическое различие у Декарта в толковании психики животных и человека. У животных, по Декарту, нет души, у человека она есть. В поведении животных все можно объяснить механическими рефлексам, в поведении человека — ничего. Легко понять, что Мелье ринулся уничтожать эту пропасть. Им руководили логика и инстинкт материалиста. Душа человека, доказывает он, в действительности столь же материальна и смертна, как душа животных. Однако тут же и слабость его. То был материализм XVIII века, для которого еще наглухо закрыты были ворота к материалистическому объяснению истории и, следовательно, общественного человека. И вот овраг между человеком и животными Мелье закидал без разбору, наивно, сплеча. Чтоб не стало противопоставления, он приписал животным и естественный язык, которым они общаются между собой, и общество, и сложные чувства, и способность познания.

Это не единственная неудача Мелье. Он шел напролом в эпоху, когда наука была в детской колыбели. Не трудно отличить его механистический материализм от диалектического материализма. Легко заметить его слепоту, глухоту и немоту перед сложнейшим из процессов природы — человеческой историей. Но нам драгоценно в нем понимание этой родившейся всепобеждающей новой силы — науки. Он уверен в ее грядущем совершенствовании. Наука в его глазах — это то, что сметает, стирает, испепеляет религию. «Не религиозное ханжество совершенствует людей в науках, не святошество ведет к открытию тайн природы, не оно внушает великие замыслы людям».

Такова архитектура грандиозного антихрама, антисобора, воздвигнутого кюре в деревне Этрепины.

Мы, конечно, не смогли даже и заглянуть во все пристройки и

приделы, да и под главными сводами прошли беглыми шагами, как любознательные туристы. Многие составные части философского здания Жана Мелье давно ждут целых диссертаций.

Оно поражает цельностью. Сам Мелье, исчерпав свои восемь доказательств, с великим удовлетворением победившего ума заявляет, что все приведенные им рассуждения — «это как бы цепь доказательств и наглядных доводов, которые с очевидностью вытекают друг из друга, друг друга поддерживают и подтверждают». Таково, по его мнению, еще одно свидетельство их истинности. Ибо, говорит Мелье, доводы хриstopоклонников уничтожают друг друга, и все здание логически рассыпается, что также является доказательством истинности противоположного учения.

Скажем еще раз, что мысль Мелье надо измерять не современной наукой. Ее мера — религия. Ее всенаучное сокрушение религии. Мелье первый показал, что вероучение и богословие до конца и полностью могут быть заменены разумом и справедливостью, знанием и правдой.

Работа титана выполнена. Но великие материалисты и атеисты XVIII века надолго забудут, что она была не целью, а всего лишь средством: Мелье лишь дробил и крошил цепь, которой сковали народ, дабы он не совершил революции и не уничтожил частной собственности. Эта цель оказалась надолго забытой. Да, философы занимались безбожной философией. Но большинство из них оглядывалось, как бы она не донеслась до простого народа.

Между тем только это и интересовало Мелье во всей его богатырской битве с этим сказочным многоголовым драконом — религиями.

Его психологическая посылка состояла в том, что в его время ветер безверия уже пронизал все общество, стал духом эпохи. Он указывает на тайное безверие людей высшего общества, в особенности ученых. Что касается масс простого народа, продолжает Мелье, то из поведения и нравов их явствует, что большинство их не более убеждено в истинности своей религии, чем образованные. Разница лишь в том, что эти простые люди более исправны в исполнении предписанных религиозных обязанностей. «Но те среди народа, в ком есть хоть малость разума и здравого смысла, при всей своей невежественности, все-таки, так или иначе, прозревают и чувствуют пустоту и ложность того, чему их заставляют верить. Так что они словно против воли, наперекор самим себе, вопреки собственному разуму и пониманию, против собственных чувств, верят или силятся верить

в то, что им говорят. Это настолько верно, что даже те, кто проявляет полнейшую покорность, в большинстве спотыкаются на этом, ощущая трудность верить тому, чему их обязывает верить и поучает религия. В человеческой природе, — заключает Мелье, — заложено отвращение и скрытое противодействие этому».

Замечательное наблюдение! Народ почти не верит, и церковь принуждает его послушно сковывать свой ум, через силу отдавать ум в плен религии.

Только эта убежденность, вскормленная опытом всей жизни кюре, дала силу и смысл его философии. Народ стихийно противится религии. Религия направлена против народа. Заблуждения веры настолько очевидны, что, скажем, помыслы о небесном блаженстве, конечно, давно были бы сданы в архив, если бы те, кто внушает их народу, не находили в этом великой выгоды: они, говорит Мелье, таким способом сохраняют свою тираническую власть над массой бедного народа. Они следуют в своей политике правилу, что простой народ должен оставаться в неведении относительно многих истин и верить многим басням. Сильные мира сего «морочат голову невежественной народной массе» касательно мнимых наказаний в другой жизни.

Такова психология масс и психология правителей.

На этом зиждутся «все религии мира». Тирания, заставляющая стонать столько народов на земле, прикрывается именем богов и вымыслами религии. С помощью этого средства, — объясняет Мелье своим будущим читателям, — ваши церковники уловляют вас и держат все время в жалком плену под ненавистным и нестерпимым игом своих пустых и бессмысленных суеверий, прикрываясь предлогом наставить вас на блаженный путь к богу.

Религия служит для того, чтобы дать возможность господам жить в праздности, «тогда как нищий народ, находящийся в сети религиозного кошмара и суеверий», смиренно несет на себе бремя, утешая себя пустыми молитвами, обращенными к несуществующим богам. Под предлогом открыть вам царствие небесное и сподобить вас вечного блаженства, — трубит пробуждающий от дремоты голос Мелье, — они препятствуют вам спокойно пользоваться всяким действительным счастьем здесь, на земле, заставляют вас терпеть настоящие муки ада в этой жизни, единственной, на которую вы можете рассчитывать.

Что более всего мешает народу свергнуть всех эксплуататоров во главе с королем и установить разумный и справедливый общественный порядок? Освящение существующего порядка церковью, божественным авторитетом. Для того чтобы революция стала возможной, этот авторитет должен быть

разоблачен и отвергнут.

Здесь две стороны. Прежде всего энергия народа направлена по ложному руслу. В письме к приходским кюре Мелье требует перестать убаюкивать людей рассказами о мнимом освобождении и о мнимом духовном искуплении их душ. Они нуждаются в реальном, подлинном, а не мнимом освобождении. Рассказывать народам, что бог освободит их из плена, что он пошлет им могучего искупителя, — это означает отвлекать и обманывать их. «Действительное освобождение или искупление, которое нужно народу, должно освободить его от всякого рабства, от всех видов идолопоклонства, от всех суеверий и от всякой тирании — для того, чтобы он стал счастливо жить на земле в мире и справедливости, в изобилии всяческих благ. Такое освобождение, господа, такое искупление нужно народу, а не воображаемое искупление, о котором вы ему говорите».

С другой стороны, религия — это щит, прикрывающий тиранов, которые сами — щит для богатых и грабителей. Этот первый щит сам по себе не сила. Он лишь мираж, нагромождение иллюзий. Стоит рассеять туман, и народ ринется в бой на настоящих врагов. Но пока туман застилает очи, не быть и битве.

«Уже достаточно времени бедный народ жалким образом обманывают всякого рода идолопоклонством и суевериями. Достаточно времени богатые и сильные мира сего грабят и угнетают бедный народ. Пора открыть ему глаза и показать ему всю правду. Если, как нам говорят, в прежние времена необходимо было внушать людям религиозные измышления и суеверия для того, чтобы смягчить грубый и дикий нрав человека и легче держать людей в узде, то в настоящее время, несомненно, еще более необходимо разоблачать все эти басни, так как лекарство стало со временем хуже самой болезни. Вот задача для всех умных людей. Самые умные и просвещенные должны серьезно поразмыслить над ней. Задача в том, чтоб приложить все усилия, всюду освобождая народ от его заблуждений, насаждая ненависть и презрение к насилиям власть имущих и побуждая народ сбросить ненавистное иго тиранов».

Ах, дорогие друзья, пишет Мелье почти в самом начале «Завещания», если бы вы знали всю бессмысленность и вздорность тех сказок, которыми вас кормят под предлогом спасения ваших душ! Если бы вы знали, как возмутительно злоупотребляют властью, захваченной над вами под предлогом управления вами! Вы вспыхнули бы презрением к тому, перед чем вас заставляют преклоняться, ненавистью ко всем тем, кто эксплуатирует вас, дурно управляет вами и так гнусно с вами обращается! Все, чего заслуживают подобные люди, высказано в

пожелании одного человека, хоть и грубого, но хорошо понявшего, кто зачинщики и вдохновители царящей несправедливости: «чтобы все сильные мира и знатные господа были перевешаны и удушены петлями из кишок священников».

Черная злоба, святая злоба! Это голос буревестника. Не смиряться, а противиться! Не поддакивать, а перечить! Туча против тучи, вал против вала.

Остается поднатужиться. Да ухнуть!

«Я готов кричать изо всех сил: с вашей стороны безумие давать себя таким образом обманывать и так слепо верить стольким нелепостям! Я разъяснил бы людям, что они находятся в заблуждении и что те, кто ими правит, обманывают и одурманивают их».

Вы вечно будете жалкими и несчастными, вы и ваши потомки, гремит Мелье, пока будете следовать заблуждениям религии и оставаться в порабощении у ее суеверий. Отбросьте же полностью все эти пустые и суеверные обряды, изгоните из вашего ума эту безумную и слепую веру в ложные тайны. Не придавайте им никакой веры, смейтесь над всем, что вам говорят ваши корыстные церковники. Дайте отдохнуть от этого своему уму и сердцу. Отмените в своей среде и все эти ненужные вздорные должности священников и жрецов, пусть и эти люди живут и трудятся, как вы.

Итак, заключает свой труд Мелье, не наука и не познание естественных истин увлекает людей ко злу, как это утверждают. Наоборот, ко злу людей влекут дурной строй, дурные обычаи, дурное управление, дурные законы — они заставляют людей родиться или становиться порочными и злыми. Народы земли! Так-то вот обстоит дело, если вы мыслите здраво. Никто не говорит за вас, и никто не говорит вам то, что следовало бы сказать. Голос Мелье стихает. А я охотно сказал вам это.

Глава 9. Биография Мелье начинается

Из трех экземпляров огромной рукописи, собственноручно перебеленных Мелье, два канули в Лету. Один все же оставил потомство — почти чудом. Автор был уже ничто, пользуясь его собственным выражением, а сочинение вело борьбу за существование как нечто, как живой организм. Подобно некоторым видам, подобно иным микробам, оно вторглось в окружающую среду и принялось плодovито размножаться.

Господин Леру, хоть и проживал в Мезьере, был адвокатом и прокурором парижского парламента. Это значит, что он был довольно большой персоной в юридическом мире. После скандала, связанного с версией о самоубийстве Мелье, Леру, конечно, уже не помышлял прямо выполнить волю покойного. К юре соседних приходов рукопись и сопроводительное письмо не попали. Есть упоминание, будто Леру зачем-то передал этот обернутый в плотную серую бумагу объемистый манускрипт, почти в четыреста страниц, в ратушу (муниципалитет) города Мезьера. Это малоправдоподобно или могло быть только коротким маневром на юридической шахматной доске. Вероятнее, что в создавшихся обстоятельствах Леру поспешил укрыть рукопись, драгоценность которой он понимал, как можно дальше и надежнее от разъяренных глаз и рук местных церковных властей и местной администрации. Шанс на спасение рукописи от прямого уничтожения состоял в том, чтобы отвезти ее в столицу, передать сразу на самые высокие этажи судебной машины Франции.

Так он и сделал. Либо он сам был вхож, либо имел кого-то, перед кем открывались двери в высокий министерский кабинет. Во всяком случае, уже очень скоро рукопись Жана Мелье была представлена на рассмотрение хранителя печатей Франции Жермен-Луи де Шовлена. Это был один из виднейших государственных деятелей и восходящая, хотя позже и погашенная, звезда в правление кардинала Флери при Людовике XV. В качестве хранителя печатей Шовлен был шефом правосудия, то есть, по-современному говоря, министром юстиции Франции. Со времени его давнего предшественника, канцлера Пьера Сегье, повелось, что на этом посту находились люди не только умные, без чего невозможно было бы управляться с этим ропшущим необразованным народом Франции, но и причастные к кругам Академии — к литературе и наукам. Просвещенные умы были достаточно разъедены либертинством; Шовлен, видимо, не упустил такого экстравагантного и острого

блюда, как антиправительственный и антицерковный трактат деревенского кюре из Шампани. От него рукопись Мелье перекочевала к члену Академии надписей графу де Келюсу, большому знатоку древностей и в то же время подлинному сыну своего вольнодумного века и своей эмансипированной матери, маркизы де Келюс, написавшей весьма вольные «Воспоминания» о дворе Людовика XIV. Граф де Келюс оценил сенсационность попавшего в его руки сокровища: он приказал или разрешил сделать несколько копий с рукописи Жана Мелье.

Так бацилла проникла в тело.

Считают, что в первый же год после смерти Мелье списки «Завещания» появились и продавались в столице. В ближайшие годы это уже был «бестселлер». Жан Мелье победил. Нокаут в первом раунде. Перед ним расступились. Он захватил и покориł умы. Это был тот сокрушающий удар, которого не мог не ждать со всем нетерпением затянувшийся век безверия и незавершенной логики. Тот мессия, которого уже не доставало сил ждать. Тот восход солнца, от которого вдруг слепнут после медленного рассвета. Выше приведены слова Тирио, сообщавшего Вольтеру из самой гущи парижских философских салонов: явился в мир великий наш, отечественный, французский философ, не менее великий, чем иноземный властитель дум Локк. Так говорили в Париже, боготворившем англичан и ждавшем света оттуда.

Но Локк с его скрытым пороком — дуализмом не мог быть этим светилом. Известный французский историк литературы Гюстав Лансон указал гораздо более глубокую философскую основу триумфа Мелье: «Завещание» является курсом Спинозизма, каким он мог выступить в своем развитии между 1700 и 1730 годами. Это был именно не тот Спинозизм, что в «Этике» Спинозы, а нечто выросшее из него дальше. Значит, говоря иными словами, перед французским читателем вдруг оказалась самая передовая, самая последовательная философия во всей предшествовавшей истории философии! Было отчего захлебнуться! Было отчего сходить с ума лучшим головам тех лет!

Вторая половина 30-х годов была триумфальным шествием Мелье. Один архивный экземпляр «Извлечения» из Мелье, датированного 1742 годом, хранит на себе обращение к читателям, где Мелье представлен им как новый мессия. Предтечами его названы Монтень, Спиноза и Бейль. Этот явившийся, наконец, мессия противопоставлен тут трем лжемессиям, приходившим прежде, — Моисею, Христу и Магомету. Здесь содержится намек на циркулировавшее Спинозистское сочинение «Три самозванца». Но Мелье предстает

не только как продолжатель и завершитель материализма Спинозы. То же обращение к читателям дает понять, что философию Мелье выводили прежде всего из французских корней. Этот мессия — торжество Франции. Его явление — отстранение английской философии на задний план

Мало того, не одной философией победил Мелье. По словам того же Лансона, Мелье в 1729 году предвосхищает дух речей 1793 года, то есть дух якобинства. Лансон называет творение Мелье «предвосхищенной карманьолой».

До Великой революции лежала еще долгая дорога, а ее голос уже раздался, да так, что от него можно было оглохнуть. Голос сельского петуха, возвещающего еще в потемках будущую зарю? Не совсем так, потому что Мелье возвестил нечто большее, чем сама революция, чем само якобинство: его время придет только после трагического надлома революции, когда огромное багровое солнце опустится к горизонту, в эпоху бессмертных «равных», пытавшихся новой революцией спасти тонущий корабль. Как же должен был потрясать в 30-х годах этот автор, распахнувший занавес не в завтра, а в послезавтра. Его и не понимали и признавали мессией, дрожали от ужаса и хранили в ковчеге завета. Он так разбудил, что заснуть уже было невозможно, хотя вставать еще было рано.

Скажут, быть может, что немислимо все это — не имелось еще во Франции предпосылок для революции. В 1743 году большой государственный деятель и большой умница маркиз д'Аржансон писал: «Революция в таком государстве вполне возможна: оно колеблется в своих основах». Тогда же близкая к самому высшему правившему кругу мадам де Тенсен говорила: «Если нам не поможет сам бог, то не может быть, чтобы государство не рухнуло». Домыслы испуганных вельмож? Нет, если это и был испуг, то такой, который заставляет не зажмуривать, а пошире открывать глаза. В 1747 году д'Аржансон из упадка уважения к королям делал вывод, что остается несколько шагов к республиканскому образу правления. Любопытно добавление: «Я не вижу у нашей нации готовности к нему: дворяне, сеньоры и судейство, привыкшие к рабству, никогда не помышляли о нем и ум их еще далек от такой мысли. Однако эти идеи появляются, и французы очень быстро привыкнут к ним». Пронесшийся в 1750 году слух о созыве Генеральных штатов внушает д'Аржансону пророческие слова: «Эти штаты соберутся не напрасно. Пусть не шутят этим: они могут кончиться очень серьезно»- В 1751 году неизбежность революции у всех на устах. «Теперь только и говорят, что о необходимости революции, вынуждаемой плохим внутренним

управлением», — записывает д'Аржансон в дневнике. И через некоторое время прибавляет: «Нельзя побывать ни в одном доме, чтобы не услышать злословии по адресу короля и его правительства... Все сословия одновременно недовольны. Все это горючий материал: возмущение может перейти в мятеж, а мятеж в настоящую революцию, когда изберут истинных народных трибунов, комиссии, коммуны... В опасности находится не Франция, а именно правительство. Правительство может подвергнуться революции. Мы уже были свидетелями нескольких пагубных возмущений, при первом подходящем случае они могут сделаться более значительными».

Крепкие порывы революционного ветра начались во Франции очень задолго до того, как началась революция. Они сменялись кажущимися затишьями. Тогда работали умы. Записи д'Аржансона о революции, стоящей у самого порога, сделаны в середине XVIII века, до выхода «Энциклопедии», до появления основных сочинений Руссо, Дидро, Гельвеция, Гольбаха, Рейналя. Все они в основном примутся за работу лишь после этого шквала, налетевшего в конце 40-х годов.

«Завещание» же Мелье работало в полную силу в 30-х и 40-х годах. Нелегальные, подпольные рукописи в то время, как установили историки Рокэн, Морне, Уэйд, передавались из рук в руки и за короткий срок могли быть прочитаны пятьюдесятью и более лицами. Число копий, снятых с рукописи Мелье, росло в геометрической прогрессии.

Взглянем на судьбу одной из них. Граф де Келюс сделал копию или разрешил сделать для своего собрата по Академии и по научной специальности Жана Буйе. Последний родился и жил в Дижоне, принадлежал, как, например, и Монтескье, к высшему слою «дворянства мантии». Он опубликовал свыше пятидесяти сочинений о праве и древностях, вел переписку и общался чуть что не со всеми видными учеными и литераторами своего времени. Его дом был в полном смысле малой академией, где на еженедельных собраниях бывали и французские и иностранные знаменитости, где обсуждались и зарождались многие ученые К творения. Библиотека Жана Буйе, открытая для пользования, имела мировую известность, была одной из полнейших во Франции. Вот для этого-то собрания и была сделана копия с необыкновенной рукописи необыкновенного кюре из Этрепиньи.

К этому списку, сохранившемуся до наших дней, приложено особое оглавление и примечание, составленные, несомненно, либо академиком графом де Келюсом, либо академиком Буйе. Примечание гласит: «Из всех новых авторов, осмеливавшихся нападать на религию в целом и в частностях, никто не сделал

этого с такой силой и ясностью, как автор данного произведения. Здесь не найдешь ни метафизических неясностей, как у Спинозы, Гоббса и Ванини, ни длинных отступлений, способных оттолкнуть три четверти читателей; рассуждения автора прямые, ясные и последовательны. Эрудиция в этом произведении так сочетается с искусством писателя, что никогда не утомляет внимания. Можно сказать, что это произведение является изложением системы полной антирелигиозности, собранием всего самого сильного, что создали против официальной веры атеисты и деисты древности и нового времени. Порядок, царящий в этом сочинении, ясно показывает, что оно явилось плодом долгого исследования и зрелых размышлений о вопросах религии. Те, кто ищет таких сочинений по этим вопросам, найдут всех их в этом одном. Вот что побуждает сделать с этого произведения несколько копий для любознательных. А чтобы выразить в наиболее общем виде его идею, к нему составлено настоящее оглавление».

Поистине этими словами либертинство XVII века поднесло лавровый венок своему наследнику и в то же время могильщику.

Жан Буйе умер в 1746 году. Но, видимо, это примечание написано за десять или более лет до того. Экземпляр сочинения Мелье, принадлежавший Буйе, из всех сохранившихся списков самый зачитанный и поношенный. Текст примечания надежнее всего отнести к первой половине 30-х годов — еще до того, как Тирио сообщил Вольтеру о новой звезде первой величины на философском небосводе.

Во второй половине 30-х годов парижская полиция уже из всех сил старалась смести и стряхнуть со свода эту засверкавшую звезду. Как упоминалось выше, документ от 1741 года из архивов Бастилии в прошедшем времени вменяет подследственному преступление: нелегальную торговлю списками сочинения кюре из Этрепиньи.

Но круг читателей расширялся и становился более разночинным. В 1740–1745 годах за экземпляр, продаваемый из-под полы, брали восемь-десять луидоров.

К рубежу 30-х и 40-х годов, по всей видимости, следует отнести возникновение первой биографической справки о Жане Мелье, отвечавшей разгоряченному общественному интересу. Кто он, автор этого нашумевшего трактата? Нетерпеливая и нескромная любознательность обязательно стремилась заглянуть под завесу, которой этот автор захотел — еще мужественнее, чем Спиноза, — укрыть от потомства свою не имевшую никакого значения, рядом с бессмертной истиной, смертную персону. Ведь в заглавии трактата стояли лишь загадочные буквы «Записи мыслей и мнений Ж.М., священника, кюре из Этр. и Бал. о

некоторых ошибках и заблуждениях в поведении людей и в управлении ими».

Впоследствии литературоведы приписали Вольтеру авторство «Краткого жизнеописания Жана Мелье». Но это абсолютно исключается: Вольтер никогда не ездил в Шампань и не мог опросить людей, лично знавших Мелье. Он даже не знал бы, куда именно надо ехать и к кому обращаться. Мало того, нет причин предположить, что от Вольтера исходила инициатива, вызвавшая составление кем-то «Краткого жизнеописания». Верно лишь то, что Вольтер, публикуя это жизнеописание в начале 60-х годов, приложил к нему руку — кое-что опустил, сделал небольшие примечания.

Анализ «Краткого жизнеописания» делает наиболее надежным предположение, что граф де Келюс, узнав от Шовлена происхождение этой анонимной рукописи, адресовался прямо к доставившему ее лицу — адвокату и прокурору Леру, и что Леру является автором «Краткого жизнеописания». В этой короткой справке наиболее осведомленно очерчены последние годы жизни Мелье. Автор знает и все детали, касающиеся его смерти. Автор описывает обложку из серой плотной бумаги, в которую был заключен третий экземпляр рукописи Мелье, врученный господину Леру. Он воспроизводит короткие строки, начертанные Мелье на оборотной стороне этой обложки. Молодые годы Мелье описаны более общо, вероятно, со слов самого Мелье, но зато автор поименно называет немногих лиц, с которыми близко общался покойный кюре в последний период жизни: кюре Вуори, кюре Делава, отца Бюффье и себя самого — Леру.

«Краткое жизнеописание» составлено в тоне симпатии, уважения и дружбы к Мелье, тактично отводит что-либо дурное от его памяти, но никак не оценивает его идеи. Впрочем, составитель, очевидно не без дальнего прицела, бросает: «Свои мнения он почерпнул исключительно из чтения Библии и отцов церкви».

Есть в этом «Кратком жизнеописании» и одна странная ошибка: годом смерти Мелье назван не 1729-й, а 1733-й. Если это не искажение при последующей переписке, то, очевидно, простая ошибка старческой памяти, которую Леру не проверил. Тем больше оснований думать, что писал он не вскоре после смерти Мелье, а лет через десять, когда грохочущая слава «Завещания» вытребовала раскрытия анонима.

Кстати, к тому же времени, что и «Краткое жизнеописание», надо, очевидно, отнести появление в мире еще двух драгоценных посмертных следов Жана Мелье: его малого опуса номер один и его портрета.

В «Кратком жизнеописании» есть строки: «Найдены также, среди книг этого юре, печатный Трактат господина Фенелона, архиепископа в Камбрэ (издание 1718 года) о существовании бога и его атрибутах и Размышления отца Турнемина, иезуита, об атеизме». Эта глухая заметка на деле означает очень многое. Ведь Леру не перечисляет другие книги Мелье, среди которых найдена эта. Речь идет о книге, листы которой хранят собственноручный текст возражений и рассуждений Мелье. Упомянутые тут «Размышления» Турнемина являются приложением к изданию трактата Фенелона 1718 года. Оба эти сочинения, сгусток и последнее слово воинствующего, экзальтированного католицизма, разбудили в мозгу Мелье такую живую и озаренную реакцию, что он тут же по прочтении книги набросал ответные мысли, представляющиеся ему столь простыми и рациональными, что только умы, запутавшиеся в мудрствованиях, могут не понимать их.

Сутью этого раннего и короткого философского сочинения Мелье является Спинозизм. Мелье тут выступает открытым продолжателем Спинозы, но оголяя материализм и атеизм. Это может служить важным добавлением к последним частям «Завещания»: материя вечна, она мысляща и инертна; как мыслящая, она производит человека, как инертная — камни, металлы и тому подобное.

Этому произведению далеко до зрелости «Завещания», но и о нем Сильвен Марешаль в «Словаре атеистов» писал, замечания на трактат Фенелона, принадлежащие Мелье, юре из Шампани, не оставляют никаких сомнений относительно его истинных взглядов на вопрос о существовании бога: «невозможно проповедовать атеизм более ясным и откровенным образом».

Эти замечания на книгу Фенелона распространились в Париже во многих списках. Все заставляет признать, что переслал эту книгу из библиотеки Мелье в Париж тот же, кто составил «Краткое жизнеописание», то есть Леру. Копии этого маленького сочинения отвечали той же потребности — образованная публика желала знать все возможное об авторе потрясшего ее философского творения. Следовательно, копии замечаний на Фенелона распространялись в конце 30-х или начале 40-х годов. Как упоминалось выше, один экземпляр найден в личной библиотеке Гельвеция — бесспорное свидетельство, что Гельвеций, как и другие, прочтя «Завещание», искал дополнительных знаний об авторе.

С той же вероятностью объясняется появление в Париже единственного существующего портрета Мелье. Подлинность его до сих пор биографы подвергают сильному сомнению. Вольтер

воспроизвел его в своем издании «Избранных мнений Жана Мелье», сопроводив подписью, что это лишь «приписываемый» портрет Мелье. Однако невероятно, чтобы Вольтер получил портрет не из того же самого источника, что и «Краткое жизнеописание». Из добавлений Вольтера к последнему видно, что он вполне знает все звенья: данное «Извлечение», по его словам, сделано по тому из трех собственноручных экземпляров рукописи Мелье, который был адресован господину Леру и доставлен хранителю печатей Франции, другой экземпляр, замечает Вольтер, был захвачен господином Лебегом, реймским старшим викарием. «Налицо еще есть люди, знавшие священника Мелье», — писал Вольтер. Эти слова, несомненно, отвечают ситуации начала 40-х годов, хотя написаны в 60-х. Вольтер имеет в виду прежде всего господина Леру. От последнего, очевидно, и был получен портрет Мелье, перерисованный каким-нибудь парижским гравером. Осторожная подпись Вольтера под портретом означает лишь его неполную уверенность в основательности Леру, которого он никогда в глаза не видел. Но мы-то теперь знаем, что Леру оказался самым надежным, единственным надежным другом Мелье. Поэтому подлинность портрета очень вероятна.

Мы видим удивительно простое, благородное и правдивое лицо. Сосредоточенное и ясное лицо мыслителя. Таким, вероятно, и был Жан Мелье. Портрету верится.

«Краткое жизнеописание» стало достоянием публики только вместе с распространившимся в 1742 году «Извлечением» из сочинения Мелье Кто составитель «Извлечения»? На этот раз традиция с более серьезным основанием приписывает авторство Вольтеру. Весьма возможно, что оно было составлено им совместно с другими лицами, например с маркизой Шатлэ. Но не будем исключать, что составителем был и кто-то другой, а Вольтер — более поздним редактором

Это «Извлечение», как мы отмечали, конкурировало на подпольном рынке со слишком дорогим полным текстом Мелье

Оно не передавало сумму идей Мелье, но все же несло в себе дух, воспроизводило отчасти грохот канонады этого великого наступления против богов. Оно говорило больше, чем портрет Списки охотно раскупались. А полиция так же сурово наказывала за торговлю им, как и полным текстом

На первом листе одного сохранившегося экземпляра «Извлечения» владелец сделал надпись «Приказываю после меня сжечь эту рукопись. Хотя она и очень дурная, она была переписана в качестве рукописи редкой и своеобразной, но для показа только лицам, идейно устойчивым. 1 января 1763.

Дюшен». Распоряжение покойного, как видим, не было исполнено. Проставленная дата легко объясняет причину: в это время в обращение уже поступили отпечатанные экземпляры «Извлечения», и рядом с их ростом истреблять единичный рукописный экземпляр было уже ни к чему.

Итак, в 40-х годах «Завещание» триумфально распространялось, его анонимный автор был раскрыт и приобрел славу. Полиция вела с ним войну. Сочинитель «Изложения» вел с ним конкуренцию.

В конце 40-х годов упоминания о Мелье появляются в просветительских изданиях то в форме откровенных намеков у Ламеттри, то в форме примечания к «Задигу» (1748) у Вольтера. Впрочем, его избегают называть по имени и предпочитают выражения «француз-атеист», «священник из Шампани», «кюре из Этрепеньи»

В конце 1761 года Вольтер, находившийся в Фернэ, в недостижимости, дерзко отпечатал в Женеве распространявшиеся ранее в рукописном виде «Извлечение» и «Краткое жизнеописание», слегка причесав. И подправив и то и другое. Засим последовали второе и дальнейшие издания (в одном из них — портрет Мелье) и целая автоматная очередь писем Вольтера к единомышленникам, просветителям, скликавших внимание всей рати к этому сенсационному изданию.

Тут уместно сказать, что, хотя Вольтер озаглавил брошюру «Избранные мнения Жана Мелье», ему же, Вольтеру, принадлежит идея называть в целом произведение Мелье «Завещанием». Вспомним, что сам Мелье никогда не давал такого заглавия своему труду. Строго говоря, откинув прочие вымыслы Вольтера, наука должна была бы восстановить в правах и подлинное название: «Записи мыслей и мнений» Но это единственная уступка, которую надо сделать вольтеровской фантазии. Так удачно подыскан этот заголовок «Завещание», так неразрывно и естественно сросся он с произведением Мелье, что оторвать и стереть его уже нельзя. Пусть это прикосновение тонких вольтеровских пальцев навсегда запечатлется на книге Мелье. Для прошлых и будущих поколений читателей ее имя — «Завещание».

Вот кое-что из переписки Вольтера ближайших лет. «Но вы ничего не сказали мне о дьявольской книге этого кюре Жана Мелье: это произведение, крайне необходимое демонам, превосходный катехизис Вельзевула. Знайте, что это очень редкая книга, это сокровище», — пишет он графу д'Аржанталю. Соглашаясь с предложениями Дамилавилля, что надо бы издать то-то и то-то для умных людей, Вольтер круто добавляет: «но я

думаю, ничто никогда не произведет более сильного впечатления, чем книга Мелье». В другом письме к нему же Вольтер скромно высказывается против выпячивания тех или иных имен. Лучше бы печатать все книги анонимно. «Имена вредят делу, они вызывают предрассудки. Только имя Жана Мелье может принести пользу. Этот Мелье должен бы иметься у всех». Даламберу: «Завещание Мелье все честные люди должны были бы иметь у себя в кармане». А в письме к Мармонтелю Мелье выступает даже почти как олицетворение и символ Разума — того единственного короля, которому служат философы и у которого еще много врагов в Париже кажется, больше верных подданных в провинции. Пересылая своего Мелье, Вольтер настаивает: «Надо, чтобы он стал известным».

В тех же письмах Вольтера из Фернейского убежища запечатлелись следы множества мелких схваток и военных хитростей из огромной баталии за массовое тайное распространение брошюры. Я могу посылать вам столько экземпляров, сколько вы пожелаете, — восклицает он не раз. «В одной из провинций были розданы триста экземпляров Мелье, которые дали много новообращенных». «Эти небольшие книжечки, — пишет Вольтер Гельвецию, — быстро появляются одна за другой. Они не продаются, их дают надежным людям, которые раздают их молодым людям и женщинам. То выйдет „Проповедь пятидесяти“, авторство которой приписывают всякому, кто на ум придет; то выходит „Извлечение из завещания“ несчастного священника Жана Мелье...» В этих словах приподнят краешек тайны подпольного проникновения нелегальных изданий далеко за круг ученых и писателей.

Но эти каналы узки для пыла Вольтера. Он снова и снова настаивает перед единомышленниками, чтобы Мелье был издан и в Париже. «Как? „Церковная газета“ будет открыто выходить, но не найдется никого, кто взялся бы издать Мелье?» Вольтер видит в этом огромное отставание Франции от Англии. «Когда же найдется добрая душа, которая выпустит красивое издание Мелье?» Он взывает, «чтобы „Завещание“ священника размножалось, подобно пяти хлебам, и накормило четыре-пять тысяч душ; ибо я более, чем когда-либо, ненавижу гадину». С жаром взывает Вольтер к Даламберу: «Кажется, „Завещание“ Жана Мелье производит очень сильное действие. Оно убеждает всех, кто прочитал его. Жан Мелье должен убедить весь мир. Почему его евангелие так мало распространено? Вы слишком холодны и вялы в Париже! Вы прячете свой светильник».

На этот град призывов и упреков Даламбер ответил Вольтеру трезвым объяснением, что из Фернэ тот не видит в истинном

свете полицию и инквизицию Парижа. «Вы упрекаете нас в холодности. Но я, кажется, уже говорил вам: боязнь костра очень расхолаживает. Вы хотите, чтобы мы издали „Завещание“ Жана Мелье и роздали четыре-пять тысяч экземпляров... Нас сочли бы сумасшедшими даже те, кого мы обратим в свою веру».

Вольтер, может быть, и в самом деле не понимал, что и без его участия имя Жана Мелье было в Париже общественной силой — огромной и опасной.

Так или иначе, Вольтер нанес Жану Мелье косвенный удар, пусть он и носил в пику полиции форму самой экзальтированной и воодушевленной пропаганды имени Мелье, — увы, преимущественно имени! Ведал ли Вольтер, что творит, или он действовал в полном ослеплении собой и своей выдумкой, в восхищении от оказываемой им протекции этому добряку кюре из деревенской глуши, так неуклюже пишущему и так изысканно, ловко, прелестно обработанному и прославленному пером фернейского остроумца, — так или иначе, это был удар.

Вольтер сохранил Жану Мелье то, в чем тот был менее всего заинтересован: личную посмертную славу. Даже нарушил без колебаний его последнюю волю. Но он глубоко исказил всю логику, всю суть «Завещания». Разумеется, это не предотвратило и полицейских преследований. Они обрушились и на вольтеровское издание «Избранных мнений Жана Мелье». А в 1765 году римская курия особым декретом осудила его.

Не будем следить за тем, как плыло имя Мелье через 60-е, 70-е, 80-е годы XVIII века. Биографы уже собрали горсть примеров — упоминаний о нем в переписке, в разных бумагах XVIII века. Вот разве один пример — записка высокопоставленного должностного лица по делам печати Мальзерба, несколько покровительствовавшего просветителям, к неизвестному корреспонденту: «Мне сказали, что у вас есть знаменитая рукопись о религии священника из Этрепиньи. Если это так, не можете ли вы как можно скорее дать ее мне на время? Я говорю „как можно скорее“, ибо в ближайшие дни уезжаю в деревню, где сниму с этой рукописи копию».

Так жил посмертно этот кюре из Этрепиньи. Ослабевало ли с годами знакомство с ним? Да, такое предположение вполне реалистично. Ведь все-таки неизмеримо проще и дешевле было доставать и читать извлечения и изложения, в частности Вольтера и Гольбаха. Очевидно, число рукописей Мелье в обращении в последние десятилетия XVIII века уменьшилось. Неумолимо отодвигалось в прошлое и представление о принадлежности именно ему, Мелье, идей, получавших все более широкое распространение и все более разнообразное обличие.

Добавим к этому, что и вообще активность просветителей слабела в течение 70-х годов. В период 1764–1774 годов шло распространение вширь идей просветителей, но шла и возрастающая распря в их среде. Внутренние споры становились все более ожесточенными: Вольтер — Руссо, Вольтер — Гольбах, Дидро — Гельвеций, не говоря о множестве резких стычек патриархов с авторами «второго ряда» — с мелкой рыбешкой. Со второй половины 70-х годов просветители мало что печатали, их уже скорее перепечатывали и перечитывали, причем иногда недостаточно внимательно.

В начале 80-х годов подымавшему голову католицизму показалось, что пора переходить к сокрушительным ударам. Конечно же, Жан Мелье был очень даже не забыт, раз на него нацелились в числе первых. Он и под землей, погребенный в своем саду, оставался тревожащим, опасным. Расследование прошлого этого возмутителя спокойствия, этого кюре-отступника взял на себя в 1783 году генерал ордена премонстрантов Лекюи. Он сочинил специальный вопросник, касающийся прошлого Мелье, для принятия надлежащих мер. Запрос был направлен канонику Реймского собора Илле. Последний организовал широкое следствие. Путем опросов, а также изучения «Завещания» были собраны довольно пространственные сведения о жизни Жана Мелье, его конфликте с сеньором и архиепископом, его характере, его идеях.

Вероятно, Илле вручил вопросник ряду лиц. Так составлялась вторая биография Жана Мелье.

Мы не знаем ее в цельном виде — возможно, она хранится где-нибудь в архивах ордена премонстрантов или вышестоящих церковных инстанций. На месте, в архивах департамента Арденны, сохранилось лишь кое-что из подобранных низшими церковными деятелями материалов, в том числе текст ответа, составленного кюре той деревни, Мазерни, где родился Мелье. Есть тут записи и материалы, собранные также другими лицами. Провинциальный историк аббат Буйо опубликовал все это в 1830 году — дата не случайная, ибо слава Мелье переживала тогда возрождение.

Сохранившиеся тексты позволяют сказать, что вторая биография Мелье в отличие от первой, принадлежавшей Леру, была предвзятой, злобной, пошлой. Но в ней были и новые фактические сведения. В частности, к этим опросным материалам восходит вторая упоминавшаяся версия о деталях столкновения кюре Мелье с сеньором де Тули.

Какое употребление было сделано из этого расследования? Мы знаем только негативную сторону. Из той же архивной

подборки известно, что генерал ордена Лекюи принял премудрое решение не извлекать из могилы останки Жана Мелье и тем избавить его от кары, так как «это могло бы повлечь за собой серьезные и нежелательные последствия».

Они опасались. И, видимо, не напрасно. Да и вообще затевать войну было поздно: Великая революция была у ворот. Несмотря ни на что, слава Мелье все-таки дожила до нее.

И, наконец, в заключение вот еще одна мелочь из посмертной жизни Мелье. На этот раз не во Франции — в России.

Жан Мелье, конечно, не предугадывал, что приведенные им (а может быть, и придуманные) нарочито грубые слова некоего премудрого простолюдина о том, что хорошо бы последних сильных мира передуть кишками последних попов, широко пойдут в ход, окажутся как бы площадным резюме его мыслей и мнении. Но выражение действительно приобрело популярность. Его по-разному употребили в дело и Вольтер и Дидро — последний в цикле стихов «Мания свободы». И вот через многие страны и пограничные кордоны долетели эти переделки и до России. Уже в 1769 году в сочинении Г.Курганона «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие» фигурировала поговорка, смахивавшая на этот афоризм.

Но около 1820 года рука Пушкина вписала его в русскую подпольную литературу эпохи кануна восстания декабристов. Среди многих острых и злых эпиграмм в то время особенно дерзкой и бунтовщической выглядела одна. Это был пушкинский пересказ строк Дидро, которые сами были пересказом строк Мелье:

Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

Глава 10. Огонь

Реакционнейший французский историк Ипполит Тэн был убежден, что просветители-философы развратили народ, разнуздали его страсти. Философию XVIII века Тэн называл опасным ядом, хлебнув которого французский народ потерял всякие устои.

Не обстояло ли все наоборот? Не было ли дыхание народа тем опасным ядом, хлебнув которого либертины превратились в просветителей, идеологи классового компромисса — в идеологов революционной буржуазии?

Просветители готовили умы к великой буржуазной революции. Они произвели довольно короткий, но сокрушительный штурм старой-престарой каменной крепости. Она была уже основательно подкопана и порушена гуманистами XVI века и либертинами XVII века. Просветители XVIII века призвали на суд разума все без изъятия древние камни Европы. Революционность их и состояла прежде всего в том, что отныне разрешено было и должно было мыслить обо всем, разъять всю крепость до фундамента, ворочать каждый камень и смотреть, на чем он держится.

Штурм продолжался, строго говоря, каких-нибудь 25–30 лет. Просветительство выступило на сцену в конце 40-х годов, а к середине 70-х годов почти все идейные снаряды были выпущены. В последние лет пятнадцать перед революцией люди уже перечитывали просветителей как властителей дум своей юности. Это была поистине адская по концентрированности артиллерийская подготовка, разразившаяся на протяжении четверти века.

Картину просветительства нельзя написать одной краской. Величие их исторического дела требует от историка не дымки фимиама, за пеленой которого не разглядишь никакой трагедии, а выпуклости образов Пергамского алтаря. Историк обязан раскрыть полные великого значения битвы внутри самого просветительского воинства. Увидать не только апофеоз, но и внутреннюю противоречивость, могучие противоположные страсти, боровшиеся и сочетавшиеся в этом идейном взрыве.

Жан Мелье был не единственным, но главным, кто донес до интеллектуального погребя факел народного настроения. Он был единственным, подчеркнем еще раз, единственным революционным демократом в истории французского Просвещения XVIII века. Он был предшественником и поджигателем.

Академик А. М. Деборин нашел на редкость ясные и смелые слова: «Мелье, этот сельский священник, явился поистине провидцем приближавшейся революции. Он оказался более проницательным, чем все ученые, политики, писатели и философы того времени». Вот потому они, читая его, и дрожали от ужаса. Почти никто из них субъективно не хотел революции, не стремился к ней. Почему? Маркс объяснил это однажды очень наглядно. Господа буржуа знают, писал он, что во время революции простонародье делается дерзким и заходит слишком далеко; господа буржуа поэтому стараются, поскольку возможно, преобразовать абсолютную монархию в буржуазную без революции, мирным путем.

«Поскольку возможно»! Маркс разъяснял далее, что в конце концов это невозможно: абсолютная монархия нигде, в том числе во Франции, не желала добровольно превращаться в буржуазную, отрекаться от опоры на феодалов. Просветители были неистощимы в иллюзиях преобразовать старый мир в новый путем реформ, без революции. Чтобы обойтись без этого «простонародья», заходящего в условиях революции слишком далеко и готового на черный передел священной частной собственности, была выдвинута надежда на переворот сверху. Просвещенный, руководимый передовыми идеями и советниками король проведет мудрые реформы! За этим миражем гналось большинство просветителей. Жизнь же давала им жестокие щелчки. Людовик XVI во Франции, так же как Фридрих II в Пруссии, Екатерина II в России и другие монархи, охотно слушали их медоточивые речи, улыбались, кое-что предпринимали, но никак не переходили на сторону буржуазии против феодалов. На горьком опыте оказывалось, что все-таки не обходится дело мирным путем.^[3]

Между этими двумя полюсами находилось магнитное поле, в котором двигалась мысль просветителей. Между реформой и революцией. Между Жаном Мелье и Людовиком Бурбоном.

Исследователи эпохи Просвещения часто обращаются к мыслителям XVIII века, как великий натуралист Карл Линней систематизировал виды растений и животных: в его глазах виды не произошли друг из друга, а существуют как бы вне развития рядом друг с другом. Только наука о вымерших животных опрокинула метод мышления Линнея — ископаемые виды оказались прототипами живущих, большинство признаков у живущих оказалось позаимствованным от предшественников. Так вот и с просветителями: стоит расположить их во времени после Мелье, и в них объявляется его неисчерпаемое наследство.

Кончено с игрою в жмурки, в проклятую неизвестность: а

вдруг они и не знали Мелье? Будущие исследователи соберут еще полные пригоршни подробностей, но жеманная и фальшивая игра в ученые незнайки кончена. Жана Мелье знали, и вполне достаточно знали.

Нет и такой проблемы, как установить, в каком случае сходство с идеями Жана Мелье говорит о его влиянии, а в каком мыслитель независимо дошел до чего-то сходного. Что значит независимо? Не открыл ли мой герой таблицу умножения или частичку ее, пусть раньше и учив ее в школе?

Незачем предполагать, что кто-либо из просветителей заново пришел к тем же мыслям, что и Мелье, раз Мелье жил много раньше его и раз он читал, обсуждал, учил мысли Мелье.

Раз увидев, в какую сторону открывается дверь, человек уже знает, как это делается. Тут бессмысленно говорить о совпадении, влиянии или заимствовании.

Филологи подменили эту неумолимо простую последовательность во времени всегда спорный и сомнительным сопоставлением текстов, выискиванием совпадений и параллелей. В истории мысли одно было раньше, другое потом, и с этим «потом» ничего не поделаешь, не перекройшь ни в какой портняжной мастерской, как ни перемешивай и ни раскладывая на столе тексты, совпадения, параллели.

И стоит только скинуть с глаз эту повязку, как оказывается, что всю историю французского Просвещения можно прочитать по-новому, услышать в ней разнообразные отголоски и эхо горного обвала, лавины, стронутой Жаном Мелье.

Огонь Мелье бушевал весь XVIII век. Нередко это притушенный огонь, его отсветы, жар его углей. Так в паровой машине жгучий, пар не взрывает — двигает поршень.

Урезанный дух Мелье порождал титанические тени. Расколотое на куски, наследие Мелье присутствовало в циклопических строениях всех зодчих эпохи Просвещения. Но никогда — во всей своей целостности, во всей своей силе.

Не для того нужно видеть полыхающее зарево Мелье на величественных фигурах Просвещения, чтобы их принизить или ниспровергнуть. Для того, чтобы их еще более возвысить. Чтобы стало ярче видно — они были все с народом, каждый по-своему. Буржуазия была революционна — это значит, она шла с народом, не отрецивалась от народа. Этим ее и меряет история. Если ей обожгло щеки народное пламя, значит она была смела. Когда мы хотим разглядеть все языки его и искры, восходящие к Жану Мелье, мы воздаем должное народной массе, ее сокрушающей и творящей силе, но вместе с тем и прогрессивной буржуазии, причащавшейся этой силе.

Этот синтез был очень не прост. Это было единство в борьбе. Буржуазные просветители не хотели Жана Мелье — их историческое величие проявлялось в том, что он их хоть отчасти побеждал. Здесь вполне подходят слова Чернышевского о Белинском как человеке, «верность суждений которого вообще была такова, что люди, восстававшие против него, почти всегда правы были только в том, что заимствовали у него же самого».

Мелье запустил такого красного петуха, от которого передовым умам некуда было скрыться. Но односторонне мнение, что XVIII век разжигал пожар — он и тушил пожар. Он восходил, но в то же время и нисходил, осаживал. Гений XVIII века выплавлялся и выковывался в этой противоречивой задаче. Отсюда такое многообразие и разноречивость идейных продуктов. Отсюда накаленность и ожесточение взаимных отношений среди просветителей.

Вольтер и Руссо выглядят почти антагонистами, полярно противоположными. Их борьба была отчаянной. Но Жан-Жак Руссо был настолько же революционнее и демократичнее фернейского патриарха Вольтера, насколько Жан Мелье был революционнее и демократичнее Жан-Жака. Вольтер отчетливо видел это. Пересылая в 1762 году Дамилавиллю свое издание «Избранные мнения Жана Мелье», этот на девять десятых обезвреженный обрубок, Вольтер все же предупреждает «С вашего позволения, посылаю вам экземпляр брошюры, более бунтовщической, чем все книги Жан-Жака Руссо». Письма Вольтера, касающиеся Мелье, полны трагизма, «Жжет, жжет!» — как бы кричит Вольтер. И тянется к этому огню, и тушит его, и снова тянется.

В Руссо ему понравилось, кажется, только то, чем их обоих опалил Мелье: они оба ученики кюре из Шампани в фехтовании с католицизмом, но оба умерили и смягчили его атеизм до деизма — один сохранил «религию разума», другой — «религию чувства» оба сохранили понятие верховного существа. Вот что пишет Вольтер об «Эмиле» Руссо: «Правда, в этой книге, представляющей собой программу воспитания имеется немало смешных и нелепых мест. Речь идет о воспитании молодого дворянина, а автор делает его столяром, — вот основное содержание книги. Но в третьем томе автор выводит савойского викария, который, несомненно, был викарием священника Жана Мелье. Этот викарий расправляется с христианской религией очень умно и красноречиво».

Кстати, некоторые литературоведы, как Ферри, в XIX веке тоже высказывали мнение, что Руссо, вероятно, для образа «савойского викария» использовал образ Жана Мелье. Заметим,

что «Эмиль» написан до опубликования Вольтером «Избранных мнений Жана Мелье» и, следовательно, Руссо мог читать Мелье лишь в рукописи. Но и в намного более ранней работе Руссо «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) есть рельефный след чтения автором «Завещания» Мелье. Там есть знаменитое место: «Истинным основателем гражданского общества был тот, кто первый, огородив свой участок земли, решился сказать: „это мое“ и нашел достаточно простых людей, чтобы ему поверить. От скольких преступлений, войн и убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы своим ближним: „Не слушайте лучше этого обманщика, вы погибли, если способны забыть, что плоды земные принадлежат всем, а земля — никому!“» Комментаторы, выискивавшие «прототип» этого места, упорно тычут пальцем в слегка схожее замечание у Паскаля, мало связанное с общим мировоззрением этого мыслителя. Но Жан Мелье привлек эти слова Паскаля и, как мы видели в главе VI, придал им толкование в своем духе. Вот именно с этим толкованием и сходится в высокой степени прославленный отрывок из Руссо.

Но не будем поддаваться на приманку, которую уже отвергли. Есть вещи много более важные. Если непредвзятым взглядом посмотреть на все творчество Руссо, мы видим не отдельные близкие цитаты или образы, а великий и страстный разговор, вернее, спор Руссо с Мелье. Мышление Руссо — искание иного развития дебюта, предложенного Мелье. Едва намеченное Мелье представление об исходном естественном состоянии человеческого рода Руссо подробнейшим образом развил. В приведенных словах он вроде и осаждает отказ от естественного состояния, появление частной собственности на блага, которые должны бы находиться в общей собственности, но тонкими ходами понемногу превращает эти послышки в их противоположность. Вольтер не имел оснований издеваться, будто Руссо соблазняет современных людей вернуться на четвереньках в леса. Вся суть Руссо в обратном раз уж утрачено естественное состояние, сколь оно ни мило сердцу, неверно требовать возвращения к нему, ибо оно сменилось вместе с установлением частной собственности более суровым, но и неизмеримо более высоким человеческим состоянием: гражданским обществом, подчинением личности моральным и государственным законам

Выводы Руссо и Мелье глубочайшим образом разошлись. Прямолинейная логика, приведшая Мелье к требованию рубить частную собственность под корень, заменилась у Руссо

вдохновенной и ажурной диалектикой, ведущей и к порицанию крупной собственности, и к освящению мелкой, и к осуждению окружающей, враждебной естественным чувствам цивилизации, и к коленопреклонению перед теми цепями рабства, которые люди добровольно накладывают сами на себя.

Но сколько же в этом идейном поединке общих черт и понятий! Мелье вынес на авансцену понятие «народ» — Руссо его разработал; как истинный ученик Мелье, Руссо писал: «Род человеческий состоит из народа... то, что не народ, так незначительно, что его не стоит и считать» Понятие «народ» Руссо сделал сердцем своей теории, обогатил его, — но и обеднил. Народовластие, как его понимал Мелье, у Руссо почти очищено от идеи народной революции, — впрочем, ее притушенного звучания осталось довольно, чтобы Руссо мог быть знаменем якобинцев. Как уже замечено, атеизм у Руссо приглушен до деизма; именно у него якобинцы нашли основу для введения культа Верховного существа

Взглянем на такого интересного и полузабытого энциклопедиста, просветителя, как Никола Буланже. Его идеи, как и идеи Руссо, сформировались в 50-х годах; он умер в 1759 году. Руссо вспоминает в «Исповеди» о встречах в Париже с Буланже, «знаменитым автором книги о восточном деспотизме». Дидро писал о нем: «Если когда-нибудь человек проявил признаки гения, так это был Буланже».

Его изданная посмертно книга «Исследования о происхождении восточного деспотизма» в просветительской литературе одна из наиболее ясно несущих печать Мелье. Вольтер рассылал некоторым из своих друзей вместе «Восточный деспотизм» и свое издание Мелье. Но дело опять-таки не в заимствованиях и параллелях, хотя их тут много, в том числе в идее связи деспотизма и суеверия, как и в приемах критики христианства в других произведениях автора. Интереснее, что мысль Буланже идет от «Завещания» Мелье как от первого толчка и устремлена на то, чтобы решить вопросы, оставленные Мелье без ответа. Как возникли в истории людей деспотизм и религия? Мелье оставил тут пробел Буланже попробовал восполнить его в духе естественнонаучного материализма. Сейчас предложение нам кажется очень наивным. Но в те времена теория геологических катастроф была передовым словом науки. По Буланже, библейский всемирный потоп был реальной геологической катастрофой, нарушившей дикое состояние человечества. Страх людей, переживших эту катастрофу, породил племенные объединения, религии, наконец, освященный ими деспотизм. Наступающий век разума призван освободить

человечество от этих остатков древней катастрофы.

Буланже бесконечно далек от революционных и общинно-коммунистических идей Мелье. Его политическая программа предусматривает не республику, а конституционную монархию. Впрочем, и это огорчало Вольтера: надо обстреливать только духовенство, не обижая правительство, а Буланже словно «постарался объединить против себя государей и священников». Но в этом Буланже был всего лишь продолжателем Мелье!

«В настоящее время истину можно найти только в запрещенных книгах, в остальных — лгут». Так писал один из великих просветителей, Гельвеций, в предисловии к сочинению «О человеке», опубликованному лишь после его смерти. Основные идеи Гельвеция выражены уже в его книге «Об уме», опубликованной в 1758 году. Но почему же биографы выкапывают истоки его мировоззрения в идеях Фонтенеля и Локка? Разве это запрещенные книги? Биографы Гельвеция разводят руками по поводу возможной связи идей Гельвеция с идеями Мелье — Гельвеций не называет имени Мелье. А разве запрещенные книги называют?

Но важно опять-таки совсем другое. Тот, кто прочтет сначала Мелье, потом Гельвеция, то есть в том историческом порядке, в каком они писали, увидит, во-первых, целые идейные глыбы, свидетельствующие об этом источнике философского воспитания Гельвеция, во-вторых, — противодействие воспитанника воспитателю. Речь идет отнюдь не о пиетете к Мелье, а о поисках в этом грубо сколоченном наследстве просветов, где и можно было бы развернуть собственное философское хозяйство. Так, Гельвеций раз и навсегда захвачен в плен учением Мелье о материи и душе. Мы застаем у Гельвеция Спинозовский материализм именно в той высшей форме, до которой поднял его Мелье. Но, опираясь на это как на неоспоримое, Гельвеций стремится усовершенствовать материализм на том фланге, которому Мелье придал мало значения: в вопросе об ощущениях, о познаваемости материального мира с помощью органов чувств. Вот здесь-то на помощь и призван англичанин Локк. Вот здесь-то, в анализе чувств и ума, в анализе человека с его физическими свойствами и инстинктами, и лежит главное русло удаления Гельвеция от Мелье. В философии Гельвеция много бесценных находок. Но в ней блекнут и предельно смягчаются другие стороны мыслей Мелье — его атеизм становится здесь умеренным и граничащим с деизмом, его революционность сужается до нападок на деспотизм монархии и разоблачение католической церкви как опоры деспотизма, его идеал общности имуществ и полного равенства людей — до критики сословных привилегий и

чрезмерных богатств и восхваления крепкой небольшой собственности.

Что же, назвать Гельвеция непоследовательным последователем Мелье? Нет, динамическим началом его мышления был спор с Мелье. С кем, как не с Мелье, ведет войну Гельвеций, когда снова и снова обрушивается на идею общества, основанного на коммунистических началах, когда предлагает даже общественный эксперимент — создать коммунистические общины в различных географических условиях и убедиться, что они не выдержат соревнования с частнособственническим обществом. С кем, как не с Мелье, борется он, настойчиво доказывая бедственность революций в истории, всякого насильственного ниспровержения властей и порядков, как аномалий, как бесцельных вулканических извержений. Кому, как не Мелье, Гельвеций снова и снова противопоставляет мысль, что в политическом и общественном организме все изменения должны быть медленными, постепенными.

Нет, Гельвеций не последователь Мелье. Он — противник. Но величие и сила его были в том, что, восставая против Мелье, он был прав особенно в том, что заимствовал у него самого. И разве не голос Мелье звучит не только в усилиях, но и в невозможности отказать народу в праве на революцию? Разве это не уступка Мелье — взмахнуть вдруг смолистой горящей веткой: «Если какое-нибудь правительство становится чрезмерно жестоким, беспорядки носят тогда благотворный характер»; «если народ подпадает под иго деспотизма, то требуются усилия, чтобы избавиться от него, и эти усилия в данный момент — единственное благо для несчастных»? Столько ратуя за мирные пути, Гельвеций парадоксально произносит слова, словно нашептываемые ему Жаном Мелье: вынужденное молчание и принужденное спокойствие рабов глупо и жестоко назвать «мирным»: «это мир, но мир гробниц». Облик Мелье пламенеет все-таки за силуэтом Гельвеция.

В ряду первых философов-просветителей, выступивших после Мелье на сцену, а именно в конце 40-х годов, вместе с именем Ламеттри стоит имя Дидро. В 1749 году Дидро опубликовал свой первый материалистический труд, а в 1754-м — изложение в целом философии материализма и атеизма. Опять говорят, будто он шел только от Локка. А на деле он более всего шел от Мелье.

Не называя Мелье по имени, Дидро однажды писал, конечно же, прямо о нем: «У каждого века есть свой отличительный дух. Дух нашего времени — дух свободы. Первый поход против суеверия был жестокий и запальчивый. Когда же люди осмелились один раз пойти против религиозного рожна, самого

ужасного и самого почтенного, остановить их невозможно. Если один раз они гордо взглянули в лицо небесного величества, вероятно, скоро встанут и против земного. Веревка, стягивающая шею всего человечества, состоит из двух шнурков, из которых нельзя разорвать одного без разрыва другого. Это наше настоящее положение, и кто знает, к чему оно поведет?» Так говорил один из первых апостолов, скрыто отрекаясь в последних словах от учителя. И не трижды, как Петр от Христа, а несчетное число раз до наступления зари отрекся от Мелье этот апостол, который все-таки остался первым среди других.

Дидро был главой школы французского материализма XVIII века. С величайшей основательностью он разработал доказательства истин Мелье: бог — порождение человеческой фантазии; движущаяся материя — вот конечная причина всех явлений мира. Откуда у материи движение? Оноечно и неразрывно присуще материи, оно само — своя причина. Эту идею самодвижения материи почерпнул Дидро не у иностранных философов Спинозы, Толанда или Лейбница, а у француза Мелье. Там же встретил он идею, что материя способна реагировать на внешнее воздействие, способна давать ощущения и реакции. Как и Гельвеция, Дидро обособляло от Мелье повышенное внимание к проблеме познания через чувства, через ощущения. Тут его поводом перестает быть Мелье и становится Локк.

Но в общем Дидро в философии отвергал все попытки примирения религии и науки. Он представлял наиболее прямое продолжение цепи материалистов;

Мелье — Ламеттри — Гольбах. Говоря о Гольбахе, но охватывая всю цепь (в том числе книгу Гольбаха «Здравый смысл кюре Мелье»), Дидро писал: «Автор „Системы природы“ не является атеистом на одной странице, а деистом на другой: его философия монолитна... Наши внуки не будут цитировать его же самого в защиту взаимно противоположных взглядов». Это уже метит прямехонько в Вольтера!

Но во многих других вопросах Дидро как раз таков — сплав взаимоисключающих противоположностей.

Как и Гельвеций, Дидро следовал за мыслью Мелье, что общественная среда, пороки или достоинства общественного строя формируют моральный и умственный облик людей. Но, как и Гельвеций, он не хотел идти с Мелье до конца — ни в революционной ломке дурного общественного строя с тиранией абсолютизма и суевериями христианства, ни в замене его строем равенства и общности. Эти идеи жгут Дидро, как Гельвеция или Вольтера, — нет, нет, да будет неравенство имуществ, да будет частная собственность, да не совершит народ надвигающейся

революции! Но у Дидро этот крик мучителен. Мысль его разорвана. Порою с такой же страстью тянулся он к пламени, не боясь ожогов. В статье для «Энциклопедии» он писал о законах Перу, которые якобы устанавливали общность имуществ, тем самым «ослабляя дух собственности — источник всех пороков». Общая собственность, согласно Дидро, порождает между людьми узы человечности, высокие добродетели. В предполагаемом общинно-коммунистическом быте в Перу самыми лучшими были дни, когда «обрабатывалось общественное поле». Каждый гражданин «трудился для всех граждан, сносил плоды своего труда в государственные амбары и в награду получал плоды трудов других граждан». Еще более привлекательно рисует Дидро от имени путешественника Бугенвиля жизнь таитян в естественном состоянии, без частной собственности, в полной свободе и полном равенстве. Если Гельвеций и Гольбах считали общность и равенство имущества не только неосуществимыми, но вредными, то Дидро считал эту идею прекрасной, но неосуществимой. Все же он снова и снова загорался от всякого соприкосновения с ней. Дидро были волнующе, интимно близки коммунистические утопии Дешана и Морелли. Об одной из них он писал: «Посудите, сколько должно было доставить мне удовольствия это произведение: я внезапно оказался в мире, для которого я был рожден».

Мучительны эти страдания ума Дидро. Он хочет быть одновременно с антиподами. Жан Мелье перевернул вверх ногами ту рафинированную культуру, которую создали либертины к началу XVIII века. Для Фонтенеля низший полюс — народное мышление, наивное, полуфантастическое, хотя бы и порождающее такие громады, как Гомер, Шекспир или Рабле; высший полюс — мышление изощренных верхов, ясное, рациональное, логичное. Мелье взметнул, вознес низший полюс на самый верх. И мятущийся Дидро не может не чувствовать правоты и величия этого переворота. Он борется с гладкими формулами стихов Расина; пусть уж лучше некрасивая речь, лишь бы выражающая подлинную природу и человека. Всемогути миллионные массы, бессильны отшельники.

Но Дидро хочет не только перевернуть, а и опрокинуть назад, задержавшись где-то на середине. Он и враждебен этой миллионной массе, он противник необузданного разжигания ее душевных стихий.

В 1772 году в цикле стихов «Мания свободы» Дидро воспел это противоречивое, почти немислимое соединение противоположностей. Тут простонародно-грубый лозунг из Мелье, тут призыв к слиянию просвещенных умов с народной

массой. Но это и должно привести к примирению антиподов: стихийного пафоса напорающих низов и холодного реализма высокого познающего разума. Одновременно вид снизу и вид сверху.

Великая трагическая фигура Просвещения. Тушил костер, но сам горел, как факел. Рядом с ним Вольтер совсем не выглядит главным героем века.

Вольтер просто искал спасительную узкую полосу между огнем и полымем. «Да, друзья мои, — писал он, — атеизм и фанатизм — это два полюса мира смятения и ужаса. Небольшой пояс добродетели находится между ними». «Атеизм» здесь означает народное безверие, народную революционную стихию, Жана Мелье. «Фанатизм» — католическую церковь, суеверие, подавление разума. И то и другое в равной мере — мир смятения и ужаса. Есть нечто третье, хотя бы и узкая тропинка.

Это не значит, что в творчестве Вольтера не было синтеза противоположностей, что ему было намного легче. Мелье олицетворял для него один из полюсов смятения и ужаса. Но о «Завещании» он писал Мармонтелю: «Эта вещь всегда производила на меня сильное впечатление». А в письме Гельвецию очень глубоко расшифровывал это свое ощущение: ведь корни «Завещания» уходят в совсем особенную почву, далекую от мира просвещенных избранников. «Какой ответ на трюизмы фанатиков, имеющих наглость утверждать, что философия (просветительство!) есть лишь плод либертинства!»

Если у большинства просветителей нет даже имени Мелье, есть лишь его багряные блики и сполохи, то Вольтер с невероятной щедростью рассыпал вокруг и имя его и некоторые полюбившиеся мысли. В сочинениях «Проповедь пятидесяти», «Важное исследование милорда Болингброка», написанных в ранний период, так и пестрит наследие Мелье. В одном из них Вольтер прямо признается, что три автора — Мелье, Уриэль Акоста и Паскаль — побудили его усомниться в истинности христианской религии и заняться ее анализом. И в самом деле, ныне открыты пять рукописных томов критических исследований библии, составленных в 1735–1736 годах в Сирэ маркизой Шатлэ под явным руководством Вольтера; вернее, руководителем был Мелье, ибо в этих томах содержатся огромные заимствования мыслей и даже прямых отрывков из «Завещания».

И в то же время никто так не отрекся от Мелье, не отплевывался от Мелье, так не возмущался им и не поносил его, как тот же Вольтер.

Историк литературы Лансон бросил язвительные слова, что Вольтер «заткнул революционную глотку добряку Мелье и

загримировал этого ярого атеиста под безобидного проповедника буржуазного деизма, не мешающего порядочному обществу спокойно почивать и кушать».

Узкую стезю добродетели между атеизмом и католицизмом Вольтер усмотрел в сохранении более или менее отвлеченного понятия бога, очищенного от всякой христианской мишуры, бога, который к философам обращен лишь как первый толчок в мироздании, к народу — как страшный, запугивающий, наказывающий за проступки каратель. Вольтер при этом, конечно же, противник революционного насилия и сторонник просвещенного абсолютизма, противник посягательств на частную собственность и сторонник деления людей на богатых и работающих, имущих и неимущих.

Теперь вызовем из той же старины глубокой, из той же богатырской шеренги еще одну огромную фигуру. Это Гольбах. Мы идем в пекло, потому что в философии все-таки самыми прямыми учениками Мелье были Ламеттри и вслед за ним Гольбах.

Ламеттри великолепно изложил и развил критику религий и обоснование материализма по «Завещанию» Мелье. Он внес много своего, оригинального, нового. В особенности, как врач по специальности, он смог расширить недостававшую Мелье естественнонаучную опору.

Материализм стал еще нагляднее и убедительнее, когда вплотную подобрался к самому телу человека. Но Ламеттри понес в мир только эту грань учения Мелье. Как и другие, и даже механичнее, чем другие, он отбросил все остальное. Ламеттри — сторонник необходимости сохранить религию для простого народа. В деле преобразования общества он уповает только на просвещенного монарха.

Четыре книги Гольбаха — «Система природы», «Здравый смысл кюре Мелье», «Письма к Евгении», «Карманное богословие» — все четыре могли бы носить название второй. Внутренняя связь настолько велика, что много позже под именем Жана Мелье была издана книга под названием «Естественная религия», хотя на деле она содержала попросту первые тринадцать глав из «Системы природы» Гольбаха. Среди французских просветителей нет никого, кто с таким правом мог бы быть назван мельеистом. Конечно, и он отрезал лишь ломоть. Но как же он его великолепно подал!

Речь идет не о согласии Гольбаха с теми или иными мыслями Мелье. Не о влиянии — именно о мельеизме. Гольбах не приводит цитат из «Завещания». Он — пропагандист содержания и смысла, духа и манеры «Завещания». Он отдал свой ум и

огромную образованность этому учению и этому учителю. В своей кузнице он перековал, отделал, заточил доспехи и оружие великого сокрушителя богов. Это был такой оруженосец, который способен был сам уложить целые полчища.

Учеными уже написаны целые диссертации, сопоставляющие идеи Мелье и Гольбаха. Коротко об этом не расскажешь. Барон Гольбах внес прирожденную немецкую основательность и систематичность в свой неисчерпаемо богатый пересказ и комментарий. Его «Систему природы» называли библией атеизма. Здесь наследие Мелье, подчас скупое, кое в чем едва намеченное, предстает упорядоченным, как музыкальная тема, уснащенная вариациями, аранжированная и оркестрованная другим великим мастером.

Но у роковых рубежей сверкающие звуки тускнеют и смолкают. Так лесной пожар сдается и умирает, достигнув просек и прогалин, через которые он не может переброситься.

Что же стало в целом с тремя великими идеями, которые Мелье, как неводом, поднял со дна народного моря и подтянул к самому берегу эпохи Просвещения?

Их разнесли по частям, разъяли пылающий копер. Но каждую из разъединенных частей необычайно обогатили или влили в более сложные сплавы.

Возьмем проблему собственности. Она впервые была Жаном Мелье во всей наготе вынесена на форум. До него кое-кто описывал дикарей, не знающих «твоего» и «моего», но он первый сделал эту возможность центром целой теоретической системы и первым водрузил без околичностей на родную почву Франции. Какое же теперь многообразие откликов и уверток, отпоров и согласий!

Рейналь выводил чуть ли не весь восточный деспотизм (а имел в виду никак не только восточный) из судеб имущественных отношений. Сколько у разных мыслителей разных проектов и предложений касательно отличия феодальной собственности на землю от всякой прочей собственности, касательно сохранения лишь мелкой собственности или также и крупной, уравнивания достатков или сохранения неравенства, наделения неимущих или сохранения их такими, как они есть, — у Вольтера, Руссо, Мабли, Гельвеция, Гольбаха, Дидро, Тюрго, Гримма. Еще бы! Для идеологов восходящей буржуазии тут была зарыта главная трудность. Их мыслью двигала, конечно, не простая корысть, но и на парение птицы действует земное тяготение.

Однако была и такая группа мыслителей тех же лет, которая, не боясь загореться и сгореть, принялась за разработку этой, самой жгучей из мыслей Мелье. Нередко имена Морелли, Дешана

и Мабли ставят как-то в стороне от общего просветительного движения. Что до Мабли, то он вообще ближе к демократизму Руссо или Дидро, чем к утопическому коммунизму. Он разработал этот идеал, но мало надеялся на его осуществимость, относя его скорее к прекрасному, невозвратимому золотому веку. Но, так или иначе, все три титана имеют совершенно тот же корень, что и перечисленные просветители. Идеал общинного коммунизма, представленный Мелье уж слишком без прикрас, уж непомерно просто и тем самым совершенно не конкретно и неясно, толкнул мышление на разработку и этих недр. Эта находившаяся в самом ядре раскаленная магма, эта испепеляющая лава не могла не породить желания изваять и отлить из расплавленного вещества стройные сложные образы, более обозримые и вообразимые, хоть тем самым, по правде сказать, и менее жаркие. Так родились детально разработанные и где-то над жизнью стоящие утопические описания строя без частной собственности.

Но идейный исходный пункт их — невозможность отбросить мысль, что частная собственность — действительно причина пороков, корысти и всех раздоров в существующем обществе. Почти буквально воспроизводя Мелье, Морелли в «Кодексе природы» писал: «Устраните собственность, не перестаю я повторять, и вы уничтожите навсегда тысячу причин, доводящих человека до бессмысленных крайностей. Абсолютно невозможно допустить, говорю я, чтобы, освободившись от этого тирана, человек стремился к преступлениям, чтобы он был вором, убийцей, завоевателем». Из остальных просветителей почти все были недовольны Морелли, кроме разве ошеломленного этой мыслью д'Аржансона: великолепная книга! — писал он; «ключ к разгадке наших бедствий — частная собственность».

Ныне открыт идейный близнец Морелли в том, что касается коммунистической утопии, но мыслитель более широкого горизонта — бенедиктинский монах Дешан. Главная работа его осталась при жизни неопубликованной. Ею захлебывался Дидро. Дешан лично рассказывал Дидро, что в коридорах и кельях монастыря, где он провел всю жизнь, тайно царил дух атеизма. Напомним, что в те времена атеизм был почти синонимом мельеизма. И в самом деле, творение Дешана, которое теперь стало известно, несет в себе огромный, грандиозный, трудновообразимый заряд мыслей и мнений кюре Жана Мелье. Материализм и атеизм Мелье здесь впервые не отделены от его коммунизма, выступают вместе. Впрочем, это не значит, что Дешан верен Мелье. В его философию внесены и совершенно иные, по-своему сложные и величественные рационалистические

элементы Его атеизм адресован лишь просвещенным и должен быть скрыт от простого народа, о народной революции нет у него и помину.

Были и другие разносчики пленительного представления о строе без частной собственности и противоположных классов. В 1765 году вышла замечательная утопия Тифеня Деларош «История галлигенов». В 1781-м — утопия, уже перекликающаяся с идеей революции, «Южное открытие» Ретифа дела Бретона.

Вторая идея Мелье — революционное сокрушение тирании и деспотизма, иначе говоря, существующих властей, имела у просветителей столь же богатую гамму отголосков. Мы встретим все, от раболепства перед абсолютными монархами до похвального слова республике. Но почти все они шарахаются от пышущего жара народной революции.

Только об одном исключении надо сказать. В 1774 году, в вечерний час просветительства, но во всеоружии его традиций и достижений, выступил великий просветитель Жан-Поль Марат со своей книгой «Цепи рабства». В его мировоззрении ничто так не приковывает пораженного внимания, как проповедь и теория вооруженного восстания подавленной народной массы. Никто из писателей XVIII века после Мелье не смел так дерзко и беспощадно обличать монархов-деспотов. У Мелье идея народной всесокрушающей революции дана общо. Марат, как и Мелье, сурово и резко бичует народ за его терпение и разрозненность. Но он превращает тему о революции в живую воспламеняющую науку.

Судьбу третьей идеи Мелье мы видели. Его антирелигиозность выступала то смягченная до формы деизма, как, например, у Мармонтеля, Вольтера, Руссо, то в форме горячего воинствующего безбожия и материализма. Самое главное — что именно это знамя Мелье было использовано наиболее полно и смело, что под ним шли главные бои, под ним были одержаны основные победы. Католическая церковь и вера были в огромной степени развенчаны в умах населения и лишены уважения усилиями просветителей.

Но так ведь и понимал порядок продвижения Жан Мелье Он видел в религии ближнюю, первую линию укреплений. Прорвать ее — значило вторгнуться за линию фронта смятенного противника. Его отвергали, но дело-то шло так, как он предложил. Просветители приготовили революционный штурм.

Энергия просветителей — смягченная и даже очень смягченная энергия революционного народа. Речь идет не об арифметическом вычитании. Это притормаживание «крайностей» было творческим, рождало системы. Разбивая полноводную реку

мысли Мелье на много рукавов, вложили неисчерпаемую щедрость мышления и знания в каждый из них. Хотя это и было все-таки смягчением.

Историк не вправе фантазировать, как вели бы себя в условиях великой революции Руссо, Дидро, Вольтер, Гольбах, Гельвеций и другие гении Просвещения, доживи они до нее. Но немногие из кружка просветителей-энциклопедистов, действительно дожившие — Гримм, Рейналь, — решительно и разгневанно отвергли революцию, хотя она раскрыла им объятия. Из великой плеяды остался в Париже чуть ли не один Нежон, литературный душеприказчик Дидро и Гольбаха, да и он замкнулся от политики в чисто книжную работу. Отсюда кажется вероятным, что и другие отчужденно не приняли бы революцию, принявшую их, впрочем, уже в приукрашивающей дымке воспоминаний.

Они сделали свое историческое дело. И пришел час того огня, из которого они возникли. Взрыв. Огонь революции охватил Францию. Красный петух, пылая, треск горящих и рушащихся строил!

Вот то, к чему он звал. Жакерии бушуют от одного края Франции до другого, они сливаются, они — великая крестьянская война. Тиранию абсолютизма давят, гадину католицизма давят. Тысячи глоток орут «Карманьолу». Пыл и жар революции выбрасывают десятки уравнилельных и коммунистических проектов. Революция взбирается до головокружительной высоты якобинской диктатуры — диктатуры основной массы народа. Мелье, сам Жан Мелье невидимо бушует в революции. Анахарсис Клоотс, избежав на трибуну якобинского Конвента, гремит об установлении первой статуи в храме Разума — «благородному, бесстрашному, беспримерному Жану Мелье». Впереди — как неумолимое логическое следствие якобинства, уже переливающее через края буржуазной революции, как ее высший идейный плод — Бабеф и сплотившиеся вокруг него «равные», истинные наследники Жана Мелье, кюре из Этрепиньи и Балэв...

Он жил ради этого.

С прекрасным негодованием возражал Дидро своему корреспонденту Фальконе — творцу Медного всадника на берегу Невы. «Всех тех, кто отдал свою жизнь на создание посмертных произведений, кто за свои труды рассчитывал лишь на благословение грядущих веков, — этих людей вы называете сумасшедшими, сумасбродами, мечтателями. Самых благородных людей, самых сильных, самых замечательных, менее всех корыстных! Уж не желаете ли вы отнять у этих величавых смертных их единственную награду — радостную мысль, что

наступит день, когда их признают?»

Для Жана Мелье этот день все еще лишь рассветает.

Но есть одно прекрасное величие, о котором не упомянул Дидро: если и после смерти оно приходит уже не к стершемуся имени, а к отделившимся от имени мысли и делу человека. Почти так и было с Мелье. Правда, имя его не померкло. Но к концу XVIII века даже таким немногим посвященным, как Нежон, и в голову не приходило отнести на его счет весь тот запас радия, который на самом деле именно он оставил Великой французской революции.

Но дело народа бессмертно. А о Жане Мелье надлежит сказать словами Белинского: «То, что в народе живет как возможность, проявляется в гении как действительность».

Библиография

Источники

Meslier J., Testament. Ed. R.Charles. Vol.1–3. Amsterdam, 1864.

Мелье Ж., Завещание. Пер. С франц. Вступ. статья В. П. Волгина. Т. 1–3 М, 1954. Bouilliot J.B, Biographic ardennaise. Vol.II. Paris, 1830. Cabinet historique. 11 Paris, 1856.

Jadart H., Quelques notes nouvelles sur Jean Meslier. «Revue d'Ardenne et d'Argonne», 9-me annee. 1901 № 1–2, nov-dec.

L.D. Un rapport' du cure de Mazerny (1783). «Revue d'Ardenne et d'Argonne», 2-me annee. № 4, mai-juin, 1895. Marechal S, Almanach des republicains. Paris, 1793.

Marechal S, Dictionnaire des athees anciens et modernes. Paris, An VIII. Marechal S., Dictionnaire des honnetes gens. Paris, 1791.

Naigeon J., Dictionnaire de la philosophic ancienne et moderne. Vol.1–3 Paris, 1791–1793 Naigeon J., Encyclopedic methodique. Philosophie. III. Paris, An II.

Voltaire F. M. A., Extrait des sentiments de Jean Meslier, adresses a ses paroissiens, sur une partie des abus et des erreurs en generale et en particulier. - Oeuvres completes T.24, pp.294–296 Указания об остальных упоминаниях имени Мелье Вольтером см. именной указатель к сочинениям Вольтера в т.52.

Литература

Бирало А. А., Социальные и идейные истоки, утопического коммунизма Мелье, Морелли и Мабли. «Труды Института философии АН БССР». Вып. I. 1958.

Волгин В. П, Революционный коммунист XVIII века. (Жан Мелье и его «Завещание») М, 1919. (Впоследствии статья неоднократно переиздавалась, обогащалась новыми данными и идеями Последнее издание см. Волгин В. П., Французский утопический коммунизм. М., 1960. Стр.19–34)

Гагарин А. П., Мелье и его «Завещание». В кн.: Мелье Ж., Завещание. М, 1937. Предисловие.

Деборин А. М., Жан Мелье. «Вопросы философии», 1954, № 1. (Пер. на франц. яз.: «Recherches sovietiques», Cahier № 1, 1956.)

Деборин А. М., Предисловие. В кн.: Мелье Ж., Завещание. Ч.1. М., 1925.

Джаймурзин А., Материализм Жана Мелье. «Ученые записки Акад. общественных наук при ЦК КПСС». Вып.28, 1957.

Кучеренко Г. С., Социально-политические взгляды Сильвена Марешаля. К вопросу о влиянии Жана Мелье на атеистическую и социалистическую мысль Франции XVIII в. В кн.: «История

социалистических учений». Сб. статей. М., 1962.

Поршнев Б. Ф., Народные истоки мировоззрения Жана Мелье В кн.: «Из истории социально-политических идей». Сб. статей к семидесятипятилетию акад. В. П. Волгина. М., 1955.

Поршнев Б. Ф., Жан Мелье и народные истоки его мировоззрения. М, 1955. (Доклады советской делегации на X Международном конгрессе историков в Риме.) Шахов А. А., Вольтер и его время. Спб., 1912.

Adier O., Ein vergessener Vorlauffer des modernen Sozialismus. — «Die Gegenwart». Berlin, 1884, № 38. Belin J.P., Le mouvement philosophique en France de 1748 a 1789. Paris, 1913.

Bengesco G., Bibliographic des oeuvres de Voltaire. T.II. Paris, 1885.

Charles R., Jean Meslier et son oeuvre. В кн.: Mestier J., Testament. Amsterdam, 1864.

Dacremont H., Jean Meslier (1664–1729). «Revue d'Arden-ne et d'Argonne». 1-re annee, 1894. № 2, janv.-fevr.

Dommanget M., Sylvain Marechal, l'egalitaire. «L'homme sans dieu». Sa vie — son oeuvre (1750–1803). (Vie et oeuvre de l'auteur du Manifeste des egaux). Paris, 1950.

Grimm, Diderot, Raynal etc. Correspondance litteraire, philosophique et critique. Paris, 1876.

Gruenberg K., Jean Meslier, un precurseur oublie du socialisme contemporain. «Revue d'economie politique». Vol. II. Paris, 1884.

Haar, J., Jean Meslier und die Beziehungen von Voltaire und Holbach zu ihm. Hamburg, 1928.

Hazard P., La crise de la conscience europeenne (1680–1715). Vol.1–3 Paris, 1935.

L'intermediaire des chercheurs et curieux (1864–1891). Table generale... Paris, 1891. Col. 202.

Jolly F., Jean Meslier, cure d'Etrepigny. «Etudes ardennoises». 2-me annee № 8, janv. 1957.

Lachevre F., Le libertinage au XVII-e siecle. (VII). Melanges. (Voltaire et cure Meslier). Paris, 1920.

Lansin G., La guerre des philosophes centre l'eglise et la religion dans la premiere moitie du XVIII-e siecle, d'apres des manuscrits conserves dans les «Bull.s. d'hist. mod.». № 4, 1911. bibliotheques publiques.

Lansin G., Questions diverses philosophique en France avant 1750. de la France. T.XIX. 1912. sur l'histoire de l'esprit Revue d'histoire litteraire

Lichtenberger H., Le socialism ris, 1895. au XVIII siecle. Pa-Malîn Â., Jean Meslier, communiste et revolutionnaire. «La Revue socialiste».

1884, № 44. Vol. VIII.

Îàrechal J., L'etrange figure du cure Meslier. 1664–1729. Essai de profil psychologique. Charleville «L'Ardennais». 1957.

Martin K., French liberal thought in the eighteenth century. A study of political ideas from Bayle to Condorcet. London, 1954.

Maurin Ñh., Au sujet de Jean Meslier, cure d'Etrepigny. «(Ardenne hebdomadaire)», 1-er fevr. 1957. Mîrâhîuse A.R., Voltaire and Jean Meslier. New Haven, 1936. Mîânet D., Les origines intellectuelles de la revolution fiancaise (1715–1789). 5-me ed. Paris, 1954.

Nîdier Ñh. Melanges tires d'une petite bibliotheque. Paris, 1829. Chap. XXI. Du cure Meslier, de ses manuscrits et de leur authenticite relative.

Petifils E., Un socialiste-revolutionnaire au commencement du XVII 1-â siecles, Jean Meslier. Paris, 1905.

Petrîs K., He diatheke tou papa. Syntome parouïase tou Jean Meslier (1664–1729) kai tou ergou tou. Athena, 1963.

Pomeau R., La religion de Voltaire. Paris, 1956.

Renîuard A.A., Catalogue d'une precieuse ñîllâñtiîn de livres, manuscrits etc. Paris — Londres, 1854.

Sergent A. et Harmel C., Histoire de l'anarchie. Paris, 1949.

Strauss D. F. Voltaire. Sechs Vortrage. Leipzig, 1872. Paris, 1876.

Theulier E., Notice historique du village d'Etrepigny (Ardenne), jadis de la chatellenie et prevote de Mezieres, avec une notice biographique du cure-philosophe Jean Meslier (1688–1729). Tours, 1902.

Verniere P., Spinoza et la pensee francaise avant la revolution. Paris, 1954.

Wade I. O., The clandestine organization and diffusion of philosophic ideas in France from 1700 to 1750. Princeton, 1938.

Wade I. O., The manuscripts of Jean Meslier's «Testament» and Voltaire's printed Extraib. — «Modern philology» 1933 Vol. XXX. № 4.

Wade I.O., Voltaire and madame de Chatelet. Princeton, 1941.

Примечания

См. В. И. Ленин, Соч, т.15, стр.183–184, т.16, стр.294,

В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 293–294, 323

См. К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т.4, стр.314.